

ВИКТОР РОЖКОВ

СИБИРИАДА



За морем —
Мангазея

Киприанов след · Наследники Киприана

Сибириада

Виктор Рожков

**За морем – Мангазея. Киприанов
след. Наследники Киприана**

«ВЕЧЕ»

2025

УДК 821.161.1-311.6

ББК 84(2Рос=Рус)

Рожков В. П.

За морем – Мангазея. Киприанов след. Наследники Киприана /
В. П. Рожков — «ВЕЧЕ», 2025 — (Сибиряда)

ISBN 978-5-4484-5439-4

Страницы истории распространения христианства в Сибири хранят полузабытые имена тех, кто нес слово Божие на просторы тайги, тундры и приполярных льдов. Среди этих людей ярко выделяется образ первого тобольского архиепископа Киприана (Старорусенникова) — духовного и гражданского деятеля России XVII века. Блистательный дипломат, историк, писатель, поэт, военачальник, он был наделен редким даром красноречия и умения понимать людские души. Автор этой книги много лет провел на Крайнем Севере; бывал в самых отдаленных местах, по крупицам собирая сведения о жизни и деятельности Киприана. Многолетняя работа воплотилась в первую повесть «За морем — Мангазея» (1987). Однако образ Киприана был столь велик и притягателен, что автор продолжил свои исследования в повести «Киприанов след» (2001). Заключительная часть трилогии — «Наследники Киприана» — не была издана при жизни писателя. Речь в ней идет о первых паломниках, миссионерах, землепроходцах — последователях Киприана, дошедших до тихоокеанского побережья России.

УДК 821.161.1-311.6

ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4484-5439-4

© РОЖКОВ В. П., 2025

© ВЕЧЕ, 2025

Содержание

За морем – Мангазея	7
Глава 1	7
Глава 2	22
Глава 3	34
Глава 4	41
Глава 5	49
Глава 6	56
Глава 7	71
Глава 8	75
Глава 9	84
Глава 10	95
Глава 11	104
Конец ознакомительного фрагмента.	107

Виктор Рожков
За морем – Мангазея. Киприанов
след. Наследники Киприана

Наследники автора выражают признательность директору Омского государственного литературного музея В. С. Вайнерману за помощь в подготовке издания.

© Рожков В. П., наследники, 2025

© ООО «Издательство „Вече“», 2025

За морем – Мангазея

Игорю – внуку, с добрыми пожеланиями.

Автор

Нырните в воду, ледяные змеи.

Раздвинься ты, завеса снеговая,

Врата златокипящей Мангазеи

Передо мной и вами открывая.

ГИПЕРБОРЕЯ

Леонид Мартынов

Глава 1

Низко прижимаясь к земле, едва не задевая гребенчатые крепостные стены, опоясывающие город, наплывали облака. Приплюснутые, хвостатые, растерявшие в поднебесье скользкую легкость, они полнились здесь, внизу, тяжелой изморозью и, уже с трудом переваливаясь через взгорки, тянулись к дальнему лесу.

Все вокруг было унылым, холодным, неприветливым, и словно для того, чтобы еще больше подчеркнуть это, почти половину неба закрывала зловещая темно-лиловая хмарь. Только-только подует ветер, а она уже тут как тут, жадно вдохнет его в ненасытное, колыхающееся чрево и сейчас же выдохнет с вихрями злобно шуршащего снега, которому буйствовать над лесом и тундрой – одно удовольствие.

И река тоже выглядела неприветливой, серой, невесть куда упрятавшей свою извечную пригожесть. С раздражающей настойчивостью била хлесткими тугими волнами в потемневшие бревна мостков, заметно раскачивала приткнувшиеся тут же тяжело нагруженные парусники кочи.

Кочи те были похожи издали на грузных, неуклюжих гусей с поникшими крыльями-парусами, которых до крайности истомил дальний и трудный путь. Они не могли теперь не только лететь, но и плыть дальше и рады были, что обрели наконец желанный покой.

За время пути от Тобольска до Мангазеи похлестала, побила вода в борта кочей от всей своей бесшабашной щедрости. Круто выгнутые и некогда крепкие борта эти сейчас растрескались, прогнулись, а то и вовсе разошлись по верху, подернутые там и сям зеленоватой с проседью бахромой мха, что, как живой, шевелился на воде.

Не меньше досталось и корабельщикам. Терпели они в пути тяготы и страхи великие: бывало, что и с жизнью прощались, вымаливали у бога милости умереть не среди хлябей неумных, а на твердой землице. Бывало, и мерзли жестоко, и одежды мокрой сутками не снимали, но главную мореходскую удачу все же из рук не выпустили.

Не считая трех разбитых бурей судов, остальные кочи почти целыми привели корабельщики в Мангазею, доставив годовой винный, оружейный и хлебный запас, без которого в Мангазее, именуемой тогда «градом непашенным», прожить было невозможно.

Бывало, раньше от моря из годовальщиков-казаков кто прибежит или с верховьев здешней реки Таза самоеды на вертучих своих долбленках наедут – уже событие. А такого, чтобы столько корабликов нашло и они весь берег заняли, давненько не бывало.

На берегу весело, многолюдно. Народу, почитай, со всего города сбежалось, ну а про посадских и говорить нечего – им до всего дело есть: толкаются, выспрашивают да выглядывают, жадные до слухов, новостей и прибауток-присказок, которыми всегда корабельщики богаты. Да ведь и то сказать, как такое пропустишь – люди пришли из Березова, Тобольска,

а немало и из самой Москвы, нагляделись, поди, за дорогу дивного есть что припомнить, о чем речь повести.

На носу самого большого коча, того самого, что стоял во главе каравана судов, было укреплено длинное копьё с орифламой, темно-голубым шелковым знаменем. В те минуты, когда ветер распрямлял его тяжелые складки, можно было видеть посередине искусно вышитый золотыми нитками образ Николая-чудотворца, покровителя «людей дела морского». Здесь же, на мешках с мукой, расположился обветренный до темно-коричневой смуглости широкоплечий детина. Из-под распахнутой латаной шубейки его выглядывал дорогой кафтан из червчатой камки – плотной багровой материи. Лихо заломленная меховая шапка с таким же багровым верхом едва держалась на густых черных кудрях. Наряд детины дополняли сапоги из тюленьей кожи, расшитые бисером по голенищам.

Можно было с уверенностью сказать, что и в Мангазее, и на всех морских путях, которыми хаживали окрест и далее здешние корабельщики, не было известней кормщика, чем Ивашка Амосов.

Три десятка с небольшим лет прожил он на свете, а почитали его за корабельщицкую искусность все от мала до велика, называя «старознатцем дорог, которому морской ход за обычай».

Моряцкая хватка и умелость не были для Ивашки чем-то случайным или благоприобретенным. Старинный новгородский род корабельщиков Амосовых, к которому принадлежал Ивашка, издавна славился кормщицким искусством не только на побережье Белого моря, но и далеко за его пределами.

Отец и дед Ивашки, знатные корабельные лощманы, совершили в свое время немало славных походов в студеных морях и на своих судах, и на кораблях иноземцев, куда приглашались за изрядную кормщицкую умелость.

Особенно прославился прадед Ивашки, Иван Олелькович, жительствовавший в Новгороде и потому прозванный новгородцем. Хаживал он на Новую землю, на Грумант – Шпицберген, не раз огибал Скандинавию, добирался до острова Гогланд в Балтийском море. Был этот Олелькович ученым по своему времени человеком, картографом и писателем. Он первым из первых, как говорили его современники, «по силе счислил и сметил обод, контур Белого моря», а также выпустил книгу – «Уставец океана – моря русского, и воде и ветром хождение Иваново Олельковича новгородца». В свою очередь, основатель этого поморского рода, Амос Коровинич, ходил вокруг Скандинавии еще раньше.

Слава деяний всех Амосовых пусть скупым, дальним, но все равно благодатным светом озаряла немудрящую жизнь Ивашки и была его большой гордостью, тайно, но ревностно хранимой в душе. Хоть и не очень заносился Ивашка, но гордостью своей поступаться не любил – знал себе цену. Вот и сейчас, небрежно развалившись на мешках, он всем своим видом выражал, что и недоволен он, и сердит, и что ему совсем не по душе весь этот шум и толкотня, затеянные у кочей любопытными мангазейцами. Поводя черными до блеска глазами, он хмурил широкие, тоже густо-черные брови и нет-нет да и оглядывал свое суденышко, зная, что разлука с ним не за горами.

За время долгого морского пути от архангельского города или, вот как в этот раз, идя по Иртышу, Оби великой и Мангазейскому морю, Ивашка привыкал к своим кораблям так, как привыкают к самым верным и преданным друзьям. Каждый предмет, каждая мелочь здесь, весь этот немудреный корабельный мир был настолько близок Ивашке, что он не мыслил без него существования. Если и приходилось покидать этот мир на короткое время, обосновываясь, по его словам, на берегу, то тому имелись важные причины, среди которых главной была надежда на скорую встречу с Ерминией. Ивашка никогда и никому не говорил об этом, старательно прятал все, что так или иначе связывало его с этим именем, в глубине сердца подчас

стыдясь, а подчас и негодуя на себя за слабость, которая никак не подходила ему – человеку дела морского.

Что стоило в свое время судьбу их с Ерминией горькую на добрый путь направить? Так нет, запил, загулял от буйства глупого, неумного и оставил Ерминию в Мангазее, почитай, что на перепутье, без надежды и слова доброго. Как ни прикидывай, а выходило, что на свете у Ивашки и было-то две радости-надежды: Ерминия да кораблики, на которых носило-мотало его по белу свету. Теперь вот вышло время, что надо бы поклониться в последний раз кочу своему, прощаясь, да и на берег по примеру остальных корабельщиков поспешать, однако поступать так Ивашка не мог. Ему как старшему – первому корабельщику нужно было блюсти мореходский чин, ожидать дорожного атамана, казачьего пятидесятника Ивана Реброва. По обычаю Ивашка должен был передать ему орифламу, а тот одарить «за легкой путь морской». В предвкушении этого приятного и давно ожидаемого момента Ивашка потянулся, повернулся на другой бок и тут же увидел притулившегося у борта Истома, ходившего у них на коче в младших корабельщиках.

Истома выглядел неказисто, не было в нем и в помине Ивашкиной стати да лихости. И годами нестар, а какой-то притихший, помятый, что ли, как лист жухлый, ветром невесть куда гонимый.

Лицо у Истома изможденное, продолговатое, болезненной желтизной отливает. В больших бледно-коричневых глазах усталость безмерная и тоска, и только порой, очень редко, мимоходом мелькнет в них осмысленное, проникновенное выражение, и тогда сразу становится ясно, что Истома бог умом не обидел.

Сейчас вроде бы сидел, отдыхая, Истома, спокойный и безразличный ко всему, но руки его, все в кровоподтеках и порезах от корабельных снастей, часто вздрагивали, и он, стараясь унять эту дрожь, быстро и нервно перебирал пальцами.

Некоторое время Ивашка снисходительно поглядывал на Истома, потом, лениво усмехнувшись, спросил:

– И што ты за человек, никак не пойму? Мне говор тож не в охотку, а все ж словцом-другим перекинусь когда. Ты же молчун из молчунов. Обет, что ль, дал какой?

– Не... – тихо отвечал Истома.

– Не... – передразнил Ивашка. – Коли весь путь от Тобольска-города молчал, тут тебя не расшевелишь. Куды стопы направил?

– В церкву, Николе-угоднику поклонюсь.

– Иди ужо, божий старатель, да за меня там по единому поклону отбей, мне-то грехи замаливать недосуг.

Ивашка произнес это по своему обычаю с озорством и явной подковыркой, но Истома, как говорится, и бровью не повел.

– Сотворю наказ твой, – только и сказал он ровно, бесстрастно, потом поклонился Ивашке «большим обычаем» – низко как мог и, сойдя на берег, пошел не оглядываясь мимо горбатых песчаных приплесков и галечных россыпей, где у воды шумел, толпился народ.

Ни Истома и ни Ивашка так и не заметили, что все это время за ними из-за штабеля рогожных кулей внимательно наблюдала, а еще внимательней прислушивалась к разговору высокая, завидного обличья молодница в черной аккуратной шубейке, расшитой по обшлагам и подолу цветными гарусными нитками. На ногах ее были щегольские, на каблуках, сапожки из нерпичьей шкуры, голову охватывала узорчатая шаль с бахромой и кистями.

Стоять молоднице было неудобно. Покатый песчаный берег оседал под ногами, и ей приходилось все время переступать на месте. Но вот она вышла из-за штабеля и направилась вдоль берега с таким видом, будто очень торопится и попала сюда случайно.

– Ой! – деланно воскликнула она, подойдя к борту коча и увидав, что Ивашка не смотрит в ее сторону. – Кто это здесь?.. А-а... Ивашенька-соколик... А и то я смотрю-смотрю, он или не он? Значит, с прибытьицем тебя?

Ивашка поднял голову и не особенно-то приветливо кивнул молодежи.

– Епифания-краса... Каково здравствуешь?

– Ладком все, Ивашенька, ладком... – отвечала она, приближаясь, и хотя голос ее звучал мягко, в нем нет-нет, да и слышалась настороженность.

Ивашка потянулся, уселся поудобней и довольно бесцеремонно оглядел Епифанию.

– Добреешь все, иной паве и не тягаться с тобой.

Слова Ивашки вызвали румянец на щеках Епифании, и она, чуть потупившись, уже тише проговорила:

– Все такой же, как и был: смех и грех от тебя, не более, а то, што душу мне постоянно огнем источаешь, вроде бы невдомек.

Слова эти заставили Ивашку поморщиться, но он тут же, превращая все это в шутку, молитвенно и гнусаво, иному дьячку в пору, зачастил: – Не прельщай и не зови в соблазны раба божьего, Иванова сына, ни в церкви, ни в бане не побывавшего после пути столь долгой, ибо уготовано тебе за сие окаянство кара небесная и слез многих проливание...

Звучавшая в этих словах плохо скрытая насмешка не задела Епифанию, обычно строптивую и такую скорую на ответ, она лишь укоризненно посмотрела на Ивашку.

– Год цельный, почитай, не зрила тебя, а ты вона каково скоморошничаешь...

– Каюсь, каюсь, Епифаньюшка! А хошь, искупления ради грехов моих пред тобой в студену воду ринусь, яко грешник окаянный?

Епифания обидчиво понурилась, помолчала и только намерилась одернуть Ивашку, пронять его, расшевелить, как он сам вскочил неожиданно бодро, запахнул кафтан, пригладил вихры и поправил шапку. К его кочу с двумя подьячими направлялся дорожный атаман, московский пятидесятник Иван Ребров. Видя это, Епифании не оставалось ничего другого, как, досадливо поморщившись, вновь отступить и скрыться за штабелем. Ивашка, тут же забывший и об Епифании, и о разговоре с ней, по-хозяйски встал у трапа, принял достойный вид. Приближалась минута, которую он, человек не очень-то тщеславный, все же ждал с волнением. Дорожный атаман шел к нему с благодарственным словом и дарами, и Ивашка, честно заработавший все это на морском пути в Мангазею, был доволен.

В эту минуту Истома миновал окраину Посада и шел далее, с любопытством поглядывая по сторонам. Вдоль дороги, бревенчатой и горбатой, ведущей к крепости, кучно, рядами стояли добротные дома ремесленников, служилых людей и людей дела морского. Далее порядок строений терялся, и все это уже было скопищем землянок и бесформенных хибар из обломков, брусьев и досок, разобранных кочей; к тому же все это было возведено где кому вздумается – сообразно прихоти и достатка хозяев. Здесь пахло смолой, дымом и прелой соломой, щедро набросанной по обочинам дороги.

Бойкие молодницы с деревянными ведрами на коромыслах, горластые мальчишки, старухи в черных, низко повязанных платках, охотники из тундры, нищие, бродяги и странники, которым в городе было несть числа – все спешили к реке, и попутчиков у Истома не было. Вскоре дорога привела его к воротам Спасской башни. Брусчатая, неуклюжая, резко возвышалась она над крепостными деревянными стенами, по верху которых, будто падая вперед, топорщился частокол из остро заостренных бревен.

Истома помолился на образ Богородицы, укрепленный над аркой внешних ворот, миновал внутренние ворота и тут же невольно остановился. Почитай, год не был здесь, и будто изменилось что вокруг мало, но уж, видно, такова была колдовская краса этого города, что быть равнодушным к ней, пройти мимо, не замечая, человек был не в силах. Вот почему и на этот

раз Истома остановился, разглядывая хорошо видную отсюда панораму града Мангазейского, златокипящей государевой вотчины.

Начиная от крепостных ворот, обитых для прочности и веселия глаз медными массивными полосами, тянулся «большой съезд» – главная, или, как ее называли здесь, «Красная улица».

Вначале, словно взнесенные вверх в едином взмахе, красовались воеводские хоромы, узкие, стреловидные башенки которых были увенчаны медными флюгерами. Флюгера те, видом не то птицы, не то звери, отлитые известным мангазейским огненным дел и потех мастером и великим выдумщиком Афанасием Чалым, покручиваясь под ветром, рокотали, гудели, как живые, высвистывали на разные голоса, удивляя народ.

Чуть поодаль вправо привлекали взор людской замысловатостью и узорной вязью рельефных разноцветных полос купола Троицкой церкви, ее стройная шатровая колокольня, а слева громоздились просторные палаты съезжей избы с высоким Красным крыльцом.

Далее через улицу виделось и вовсе уж дивное: возведенный заезжими мастерами гостинный двор с бесчисленными пристройками, амбарами, крытыми переходами и стреловидными сторожевыми башенками, где у крыш разбегались деревянные петухи, рыбы, вились цветы и травы диковинные. За всей этой пестротой едва различима была и главная изба гостинного двора, приземистая и просторная собой.

Неподалеку за гостинным двором высились государевы для казны, воинского и иного припасу амбары с сусеками и коробами для муки, с пирамидами бочек, чанов и штабелями досок.

От государевых амбаров расходились в разные стороны массивные изгороди, за которыми стояли дома северного поморского вида. Были они просторными, в два этажа. Вверху, как правило, жили хозяева с домочадцами, а внизу ютились слуги, дворовые люди, здесь же содержался скот и хранились всяческие запасы.

Только некоторое время спустя, да и то с трудом, сумел Истома избавиться от наваждения, вызванного новой встречей с Мангазеей. Как бы пресытившись всем виденным, он крепко зажмурился, помотал головой и тут же, не таясь, воскликнул сердито: «Цветоград суетливый!» – вспомнив, что так называл Мангазею встреченный им однажды беглый монах.

Через несколько минут Истома уже деловито шагал вдоль Красной улицы, затем свернул в один из узких боковых переулков и вскоре остановился возле громоздких и широких ворот богатого подворья. Трижды перекрестившись, он осторожно постучал в калитку, прислушался.

– Кого бог несет? – раздался в ответ хриплый старческий голос. Калитка распахнулась, и перед Истомой предстал одноглазый могучий старик с большой распушенной по груди бородой.

– Здрав буди, Корнеюшко, аль не узнал, пусти ужо, – с поклоном сказал ему Истома.

– Пустить – пуцу, но к хозяину тебе ноне соваться не след, зело гневен...

– Пошто гнев сей? – понизив голос, поинтересовался Истома.

– А ты прикинь, какой барыш у него из рук ушел. Молился, поди, не единожды, штобы хляби морские по дороге вас прибрали, а вы – вот они, живы-здоровы и припас весь целой доставили, хозяину цену на хлебушко враз сбили...

– Все от Бога, – вздохнул Истома.

– От Бога... – не поймешь, насмешливо или осуждающе протянул Корней и, махнув рукой, посторонился, пропустил Истому.

Ждан Иванович Артемьев, торговый гость из Мезени, а ныне первейший мангазейский купец, стоял у окна, заложив руки за спину. Позади в какой уже раз раздалось негромкое, осторожное покашливание, и, решив, что Истома ждет уже достаточно времени, Артемьев спросил, не поворачивая головы: – Ну?

Поняв это как разрешение говорить, Истома опустил на колени, зачастил подобострастно, скороговоркой: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа... шли сюды, натерпелись лиха

так, што и ныне тошно, было и не утопли едва. Вод беснование встречали, почитай, ежедень, а парусного погодыя – самую малость. Кочя привел корабельщик Ивашка Амосов, а дорожным атаманом был тож Ивашка, казачий пятидесятник по прозванию Ребров. И еще выведал яз, што при том Реброве грамота из приказа Казанского дворца тобольским воеводам Юрию Сулешову да Федору Плещееву писана. Те грамоту сию зрили да здешнему воеводе переслали».

– О чем грамота? – все так же, не поворачиваясь, но уже заинтересованней спросил купец.

– Расстарался ужо, как велел ты, – покорно склонил голову Истома, потом, покопавшись за пазухой, осторожно вытащил завернутую в тряпицу бумагу. – Вот список с грамоты той, сам прочтешь, аль мне велишь?

– Велю.

Истома разгладил бумагу, покосился на дверь (не подслушал бы кто) и принялся негромко, но внятно читать: «...Старою дорогою из Мангазеи Тазом-рекой на Зеленую реку, да на Карскую губу и большим морем к Архангельскому городу, и на Пусто озеро торговым и промышленным людям ходити не велено, штобы на те места немецкие люди от Пусто озера и от Архангельского города в Мангазею дороги не узнали и в Мангазею не ездили. А буде, которые русские люди пойдут в Мангазею большим морем и учнут с немцы торговать мимо нашего указа, а тем их непослушанием и воровством и изменою немцы иль какие иные иноземцы в Сибирь дорогу проведуют, и тем людям за их воровство и измену быти казненными злыми смертями...»

Разговоры о закрытии морского хода в Мангазею шли давно, и то, о чем сообщалось в грамоте, не было неожиданностью для Артемьева, однако он нетерпеливо пошевелил плечами и, как бы подгоняя Истома, недовольно прикрикнул:

– Еще што?

– А то, – все еще стоя на коленях доверительно наклонился вперед Истома. – Как ведомо мне стало от верных людей, князь Юрий Сулешов здешнему воеводе еще повелел на словах передать: «Наслышаны, мол, мы, и срадеют в Мангазее делу государеву: шпыней иноземных, людей дела морского немало там есть, што под видом купчишек и прочих обретаются... Повелел, мол, государь, бояре приговорили: таких шпыней хватать, тащить на съезжую для допроса и казни...»

Тряхнув русыми с рыжинкой кудрями, Артемьев резко повернулся к Истома. На краснощеком лице, рыхлом от полноты, так же резко взметнулись рыжеватые, по-кошачьи торчащие брови, в зеленых водянистых глазах мелькнуло презрение.

– За страхи твои и труды одарю щедро, список грамоты воеводской здесь оставь, а ныне есть тебе еще службишка: корабельщика того, Ивашку Амосова, сюда представь, при сем молви, слово, мол, у меня к нему есть тайное...

– А как не пойдет он? – опасливо переспросил Истома. – Тот Ивашка зело буйный, под началом ходить не больно охоч.

– А ты расстарайся, посули поболе. Ждан-то, мол, Иваныч, ежели што, за ценой не постоит.

– Исполню... – Истома поднялся с колен и, непрерывно кланяясь, попятился к двери, бережно прикрыл ее...

Лишь спустя минуту-другую насмелился он вздохнуть полной грудью да молитву сотворить об умягчении сердец, коварством и злобой обуянных. Как там ни суди, ни ряди, а выходит, что купец этот окаянный вроде бы петлю набросил ему на шею и теперь затягивает ее помаленьку, но неустанно.

Пробовал и бунтовать в душе Истома против Артемьева, замыслы темней темного вынашивал, но на большее его так и не хватило. Ладно ли сотворил он, что вновь к Ждану-хозяину вернулся? Есть ведь, по слухам, в верховьях Таза, реки здешней, вольные скиты, неподвласт-

ные ни людям богатым да сильным, ни воеводам, и, подумать боязно, ни царю самому. Богу бы там молиться, забыть о суете мирской, страхи отринуть, что ежедень мучают его.

К страхам тем еще с дней юности приучила Истому бабка, а так до этого был он парень как парень, каких в их рыбацком поселке было немало.

В море Истома хаживал едва что не с пеленок. У отца, кормщика знатного, науки и хватку мореходскую старательно перенимал, как горе неожиданно надвинулось... Опять, в который раз, будто бы совсем рядом, видится ему бабкино вымученное страданиями лицо, слышатся слова деда, что склонился над ним, гладит, как маленького, по голове тяжелой и шершавой ладонью.

– Богу молись за упокой души родителей твоих, в море сгинувших, да за то, што б к тебе то морюшко милость явило на пути рыбацкой...

– Ан нет, и трижды нет! – иступленно кричит бабка, и лицо ее, только что скорбное без меры, сразу полнится, полыхает гневом, что тут же высветливает до невозможной белизны дико округлившиеся глаза.

– Мало тебе, идолице старый, – бушует бабка, – што в море сим проклятушем сын наш со снохой синули, так ты туды и внука утянуть норовишь?..

Дед отступает, машет руками на бабку, а той все нипочем, тычет ему едва ли не в самую бороду кулаками, свое кричит:

– Богу единому отдам Истому, пуцай за нас, грешных, слово держит перед ним, ибо только в вере истинной и сила, и крепость, и все сущее!..

В постах и молениях бабка была неистовой, учила Истому отбивать поклоны «покуль во мрак не войдешь...», и оттого нисходил на бабку, как она сама объясняла, «дух святой», начинала она дрожать мелко-мелко, и корежило, и било ее так, что не только смотреть, а и слушать ее было противно людскому естеству.

– У Бога человеки, а у человеков – птицы судьбишку расклевали, – причитала бабка в те минуты. – Азад-птица, Гурзах-птица, да особливо Сирин-птица. Лик у ей девичий, предивный, и грудь тож, а крылья и хвост золотом и атласом отливают...

От молений и наговоров бабкиных хворь на Истому напала. Все чаще метался да бился он в припадках, и то льдом обкладывало его со всех сторон, то полымем багряным обступало. Много раз такое виделось, а однажды и вовсе дивное причудилось ИстOME, когда в хоро-воде теней и огненно-малиновых всплесков появилась сама Сирин-птица. Приблизилась как ни в чем не бывало, ступила ногой в серебристых шпорах-иголках на грудь Истома. Ужасаясь, трепеща и радуясь безмерно непонятной радостью, совсем вблизи увидел он лик ее. Лик тот беломраморный, дышащий холодом, был торжественно-печальным. Чуть-чуть хмуря ниточки-брови, поводила Сирин-птица бездонными очами, в которых мохнатыми искрами клубился ужас великий для людей, верная им погибель.

Еще немного, и Истома совсем бы умом тронулся, да бабка его тут в монастырь благословила от скверны людской спастись. Шел он туда с охотой, жаждал, душой трепеща, тишины райской, страхами не колеблемой, обрел же на горе себе худший удел...

От бесхлебья и безводья злого, на котором Истому поначалу держали, дух его испытывая, ослаб он до того, что ноги едва передвигал. Да и потом не легче было. От темна до темна трудился Истома, книги древние переписывая. И хотя в грамоте поднаторел изрядно, понял, что это ему впредь вряд ли пригодится. Работа, изнурительные посты, службы монастырские до полуночи, да еще за провинность самую малую – уроки: «Тыщу поклонов тебе отбить во славу божью, касатик... Две, три тыщи отбей...» И держался только, жив был Истома жгучим, неистребимым желанием выбраться из стен монастырских на волю...

Однажды как-то в один день решился, насмелился Истома. Вот он, как сейчас, видит: крадется, едва что не ужом извивается у щербатых бойниц в стене, за которыми, благословясь,

можно и дорогу на волю начинать, и вдруг свет полымем, крики: «Вот он, вот!» – и стражи стенные, страхолюдные видом монахи, набросились на Истома, как собаки на дичь.

Не посчитался игумен и с саном своим высоким, пинал в ярости поверженного на землю Истома, да и посохом приложился не раз. Когда совсем худо стало и тело уже не чувствовало боли, лишь в голове звенел, раскатывался гул, увидел Истома, как закачалась, разверзлась стена, и из пролома ее вместе с пламенем и стрелами-искрами выпрыгнула, отряхиваясь, Сириин-птица. Смотрела она сейчас так, как будто бы жалела Истома, отчего лик ее утратил белесую мраморную неподвижность, и стала ближе и понятней краса предивного лика, глядя на которой Истома, если бы мог, сейчас зарыдал, завыл бы в голос... «Вона как со мной игумен-то, смотри», – не сказал, подумал Истома, но птица поняла его, все так же сочувственно и жалеючи закивала головой.

К ночи, когда поутихла немного боль, терзающая его тело и Истома начал подремывать в закутке пытошной избы, вдруг мелькнул и побежал, рассыпаясь по стенам, почти яркий свет. «Господи!.. – едва не задохнувшись от непереносимой тоски и жалости к себе, взмолился Истома. – Идут каты в который раз уже по душу мою...» Он подобрался весь, как мог прижался к стене, сдерживая дыхание, но вместо игумена и подручных его увидел лишь монаха келейника, а с ним незнакомого человека, явно заморского обличья. Из-под широкополой шляпы его с пером вились по плечам светло-рыжеватые кудри. Высокие сапоги с отворотами лоснились жиром, поскрипывали непривычно громко.

– А ну, посвети, где он, – приказал незнакомец келейнику, и, когда тот направил луч фонаря на съжившегося Истома, присвистнул.

– Однако... – молениями, што ль, истязал себя, что страшен так?

– Молениями, – скривил губы Истома. – И сам молился, они вот помогали, – кивнул он на келейника.

– Правда аль нет, што ты грамотен вельми и к мореходскому делу свычен?

– Правда-то правда, да мореходство мое ноне короткое, в рай, видно, поплыву скоро... – закашлялся Истома.

Незнакомец принялся подробно расспрашивать его: откуда он, что, где бывать приходилось, и Истома, отмечая, все не мог понять, зачем все это нужно незнакомцу? Все разъяснилось, когда тот уже в конце беседы неожиданно спросил:

– Пойдешь в службу ко мне через крестное целование – выкуплю отсель.

Монах-келейник, прислушиваясь, повернул голову вправо, влево, и вот уж, чего никак не ожидал Истома, участливо склонился к нему, посвечивая фонарем, зашептал опасливо:

– Соглашайся, а то гневен зело на тебя игумен – сгноит в яме...

– Богородица Пресветлая! – взмолился Истома. – Да я хуч куды! Уж и не знаю, кто ты есть добрый человек, как звать-величать тебя...

Незнакомец подбоченился, насупил строго, и брови его, торчавшие, как у задиристого кота, приподнялись еще выше.

– Торговый гость я, Ждан сын Иванов, Артемьев, – внушительно представился он и вновь переспросил: – Так ты согласен?

– Да я, да с радостью, господи боже мой! – заторопился Истома, век бога буду молить за тебя... Ему ли было сейчас выбирать-выгадывать, только бы из монастыря вырваться поскорей. Сутки спустя Истома уже трясся на запятках купеческой колымаги, которую разом тянули четверо сытых коней. Приятно овеваемый в меру прохладным ветром, Истома блаженно щурил глаза, часто облизывая губы, пересыхающие от волнения и от предчувствия близких, давно и трепетно ожидаемых удач и душевного покоя.

Теперь, если вспомнишь о думах тогдашних, то сердце как в пустоту летит, сжимаясь и трепеща. От счастья земного, тихого, от немудрых радостей его все дальше и дальше отделяла

жизнь Истому, и он чувствовал себя рыбаком, унесенным в злое море на малой льдине, которая, покрываясь трещинами, тает, крошится на глазах.

Изредка мимо подклети, где на лавке пристроился Истома, пробежал кто-нибудь из дворни со свечой в руках, и тогда желтоватые дрожащие пятна разбегались, мелькая по потолку и по верху стен. Горьковато пахло дымом, сушеными травами, ладаном: в домашней церкви купца недавно отслужили вечерню.

Истома так и эдак подкладывал под бок брошенную ему на ночь старую шубейку, пробовал засунуть. Но это ему не удалось. Тогда он поднялся с лавки и ощупью по узким переходам кое-как выбрался на черное дворовое крыльцо.

Словно нарочно, чтобы покрасоваться вдоволь, предстала ночная Мангазея перед Истомай во всей своей суровой приятности. Полная до бледности луна соперничала с мерцающей синевой не по ночному ясного неба. Длинные, ломкие тени причудливо изменяли очертания дворовых построек и домов, как бы перечеркивали перспективу улиц, а дальше, где над болотистыми окраинами колебалось тяжкое море, едва проступали контуры леса.

Как ни был удручен Истома и как ни тяготила его тоска, дикая краса северной ночи тронула его сердце. Имей он крылья, расправил бы их сейчас, рванулся в бездонную синеву ночного неба, чтобы там досыта надыхаться буйным морозным ветром и лететь, лететь легко и вольно, куда глаза глядят, забыв все томления и страхи. Истома, словно его желание и в самом деле могло быть осуществимым, порывисто шагнул было вперед, но тут же, холодея, почувствовал на плече чью-то тяжелую, сильную руку.

– Ужо тебе, старатель божий, пошто полуношничает? – прозвучало над ухом злой, приглушенной скороговоркой, а когда Истома все же насмелился, поднял голову, то тут же с испугом и удивлением узнал нахохлившегося, недобро поблескивающего глазами Ивашку Амосова.

«Што это он, зачем сюды?» – мелькнуло в голове, но Ивашка, словно догадавшись, о чем думает Истома, схватил его за отворот кафтана, притянул к себе.

– Товарища ишу на дельце одно, ан Бог тебя послал, помоги ужо, не бросай в одночасье меня, сироту разнесчастного.

Истома, не соглашаясь, замахал было руками, но Ивашка тут же пригнул его к земле, оскалил зубы и вовсе по-волчьи. «Волк, истый волк, Господи, Господи, Господи!..» – с молитвой зачистил про себя Истома. Все остальное после этого он делал с привычной покорностью. Сдерживая дыхание, пробирался вслед за Ивашкой по темным переходам и под навесами. Потом шел по длинному коридору, узкому в поворотах, пока не стукнулся лбом о бревенчатую перегородку. В щелях ее кое-где теплился свет, пахло мятой и еще какими-то травами, от которых першило в горле и легко кружилась голова. Ивашка плечом подтолкнул Истому и, когда они очутились перед плотной низкой дверью, сказал, как всегда, со злым озорством:

– Добро сотворишь – спасен будешь, так, што ль, раб божий? Вот и постой тута, позри как надобно, а коли пойдет кто аль без дела вблизи высматривать почнет, в сию дверь стукни – и я к тебе мигом...

– Так оно, это... – слезливо тянул Истома, – а ежели нагрнет сам, ну, Ждан Иваныч, самолично?

– Ужо ему, упимшись дрыхнет, – отмахнулся Ивашка, – стой бодро, а ежели в обман намыслишь, то несдобровать тебе.

Он снова подтолкнул Истому: держись, мол, и скрылся за дверью.

Как ни был боязлив Истома, любопытство скоро пересилило страх, и, подождав немного, он, чуть приподнявшись на носки, осторожно заглянул в ближайшую щель.

В обширном прирубе по стенам висели волчьи и медвежьи шкуры, шелковые ткани с вышитыми на них замысловатыми знаками, заметно выделялись поставцы с посудой и книгами. Ближе, на широком, выскобленном до блеска столе из кедровых досок, стояла медная сальница, бока которой широко обхватила крыльями также отлитая из меди сказочная взьеро-

шенная птица. В клюве она держала льняной фитиль, свет от которого был ярким, ровным, хорошо освещал все вокруг. Пожалуй, шипение разогретого сала только и нарушало строгую тишину в прирубке, л можно было подумать, что там вовсе нет людей. Но, повернув голову влево, Истома увидел на широкой лавке задумчиво сидящую женщину в суконном платке, затейливо расшитом цветным бисером. Платок был повязан не по обычаю, не по самым бровям, а смело открывал высокий лоб, обрамленный чуть выбившимися вперед волнистыми локонами.

Любопытствуя, Истома еще больше вытянул вперед шею, пригляделся и вдруг испуганно отпрянул от щели.

– Господи светы! – едва не воскликнул он, но вовремя спохватился, зажал рот рукой. В женщине, сидящей на лавке, он без труда узнал Марфу Ильиничну Скорбееву, встречаться с которой без особой нужды насмеливался в Мангазее не каждый. Не занимая ни места, ни особого положения в городе, она, по званию простая казацкая вдова, была меж тем лицом заметным и известным всем от мала до велика, хотя об этой известности и особенно о делах ее, всегда говорили вполголоса, да и то с оглядкой.

Ни для кого не было тайной, что под рукой Скорбеевой находилась не только вся мангазейская мирская вольница, но и многие ватаги вольных промышленников и всяких безначальных людей в тундре. Если к этому прибавить, что слыла она первой знахаркой-баальницей и что за ней, пусть и негласно, утвердилось звание «хозяйки земли мангазейской», то испуг Истома можно было вполне понять.

«...И носит же того Ивашку, прости господи, вона куды меня приволок: ни страх, ни опаска его проклятущего не берут...»

Меж тем Ивашка, всегда непокорный, занозистый, не больно-то любящий «ломать шапку» перед наибольшими людьми, сейчас, видно, смирил свой нрав, стоял перед Скорбеевой непривычно покорный, не поднимая головы и не решаясь первым начать разговор.

Видно, оценив это, Скорбеева неторопливо поднялась с лавки, подошла к Ивашке, упруго постукивая наборными каблуками сапожек. Движения ее были полны убедительной плавности. В повороте округлых, но крепких плеч чувствовалась сила. Аксамитовый¹, темно-малиновый летник с широкими рукавами подчеркивал легкость и стройность фигуры, словно и не было за ее плечами четырех десятков лет.

Теперь, когда она задержалась возле стола, пламя сальницы еще лучше осветило лицо, властная строгость которого нисколько не преуменьшала приятности тонких и нежных чертаний. Но все же самым приметным на этом лице были глаза. Истома, сам не зная, почему, попытался попристальней взглянуть в них, и тут же ему стало не по себе. Ведь не видела же сейчас Скорбеева Истома, а вот почудилось ему, что она будто крючок какой цепкий до невозможности вмиг перебросила из глаз своих в глаза Истома и тут же потянула его этим крючком к себе так, что он едва устоял на ногах.

Истома бы и открылся – шагнул в прируб, но в этот миг глаза Скорбеевой, вспыхнув, погасли, точно два огонька, и через две-три секунды, уже спокойные и доброжелательные, были устремлены на Ивашку.

Поддерживая обычай, принятый среди мореходцев при встрече на земле, она, ответив на поклон Ивашки, чинно осведомилась:

- По здорову ли шли?
- Слава богу.
- Чин мореходской не порушили ли чем?
- Все ладно было.
- Ну, тогда с прибытьцем, корабельщик старшой.

¹ Аксамитовый – бархатный.

Ивашка пробормотал в ответ что-то невнятное, помялся и уже посмелее спросил:

– Ты, Христа ради, не тяни душу мне, Марфа Ильинишна, поведай лучше-ка, где ноне Ерминия есть?

– Вона што... – едко протянула Скорбеева, – Ерминию ему подавай, Ерку его разлюбезную. А ты, хрещена душа, чего ране думал, как она живет-толкается на купецком подворье?

– Думай не думай, путь-то мой долгой был, покуль пришли...

– Э-э-э... – махнула рукой Скорбеева, – у тебя и до того пути деньки были, а ты по кабакам с питухами-гулеванами валандался, в кости, зернь эту проклятушую, почитай, по неделям хлестался, а куды девке голову приклонить, ни разу единого не удумал.

– Так я што, я согласный, – виновато протянул Ивашка, – можно и в церкву, поп враз окрутит.

– Ноне окручивать некого. Ерку твою воевода в услужение взял.

– Это как же? – медленно бледнея и сжимая кулаки, переспросил Ивашка. – Аль не ведомо тебе, што за услужения у воеводы те?

– Мне-то ведомо, да куды податься девке было, как перечить тому душегубцу? Знаешь, поди, как он людишек в пытошной со свету изводит...

– Так ведь вольная она, Ерминия-то, казацкого роду! – почти с отчаянием воскликнул Ивашка.

– Воеводе все едино. Ввалился сюды, увидел Ерку, – пойдешь, мол, ко мне в услужение – и вся недолга.

– Ну, собака! – Ивашка так скрипнул зубами, что у Истома за дверью мурашки пошли по спине. – А хозяин-то ее благоверный, – продолжал так же возбужденно Ивашка, – Ждан-то Иваныч, пошто же он не вступился за Ерку? Ведь она, почитай, пять годков на него спину гнула.

– Хозяину с воеводой шуметь не след, в едину дуду дуют.

– Попомнят они меня, псы! – вновь скрипнул зубами Ивашка и тут же замолк, не зная, как примет Скорбеева его слова.

– Ну-ну, – насмешливо протянула она, – на рожон лезть ты остер, всем ведомо. А ты прыть да удаль свою на морской пути кажи, а об воеводской тын головой биться да шуметь без толку и без тебя охотников предовольно.

Поняв, что Скорбеева не очень-то осуждает его, а говорит больше для порядка, Ивашка ободрился и уже дерзко тряхнул головой. – Ништо! В раю нам не бывать, вина-меда там не пивать, а на земле един грех: гульнуть да лиходеев тряхнуть! Прощевай покуда, матушка Марфа Ильинишна.

– Бог простит, – в тон Ивашке ответила Скорбеева и испытующе поглядела на него. – К мирским пойдешь?

– Вольного к вольным тянет, душу-то более с кем отведешь? – Ивашка поклонился и, заторопившись, тут же выскочил из прируба, сбив по пути Истома. Поняв, чем тот занимался у двери, Ивашка схватил его за грудки.

– Эх, и развелось вас ныне, шпыней непотребных, пес, гнида! За сколь в послухи воеводе нанялся?

– Што ты, што ты, осподь с тобой, Ивашенько-свет, – клящая зубами от страха, едва выговаривал Истома. – С воеводой отродясь речей не вел, шпынем лаешь пошто? Я и не слыхивал, че вы там рекли, так, случаем заглянул...

– Случаем? А зенки свои блудливые отводишь пошто? – вновь тряхнул его Ивашка.

– О другом, о другом мысли мои ноне, – зачастил Истома., – Ждан Иванович нужду в тебе имеет, молвил, штоб наведался ты к нему.

– А иди и ты со своим Жданом! – Ивашка, отшвырнув Истома, выругался столь страшно, многословно и богохульно, что Истома, отродясь не слыхавший такого, ужасаясь, схватился за голову...

Яростно чертыхаясь, Ивашка выбрался на дорогу как раз в тот момент, когда большие рыхлые облака, громоздясь одно на одно, неожиданно быстро закрыли белесое лунное небо, и осенняя непогода вмиг окутала непроницаемым покровом и без того темную землю. Идти было трудно, скверно, и, едва свернув на обочину, Ивашка тут же угодил в одну из ям с мусором и щепками, оставленными здесь после недавнего ремонта дороги. Вновь, почти ощупью, поднялся Ивашка на деревянный настил: двинулся вперед, широко, как незрячий, растопырив руки. Вскоре впереди, как бы желая ему скрасить трудности пути, мелькнул-затеппился желтоватый огонек. Пройдя еще немного и оглядевшись, Ивашка понял, что это свет в оконце сторожевой избы.

– Вот они, слуги царские, злыдни воеводские, куды б их подале! – воскликнул Ивашка. Его так и подмывало стукнуть посильней по окошку этому да схватиться со стрельцами: «Эй вы, глядите, мол, первой мангазейской корабельщик шествует...» но, понимая, что до поры до времени ему не следует будоражить служилых людишек, он, по-прежнему оступаясь и поругиваясь, продолжал свой путь.

На подворье своего побратима, в прошлом тоже известного корабельщика, а ныне одного из верховодов посадской общины, заказного целовальника Савватия Бузы, Ивашка добрался через полчаса. Савватий жил открыто, безбоязненно, ворота и двери никогда не держал на запоре. Смешно было подумать, что кто-нибудь посмел бы войти без спроса, а тем паче взять что-нибудь в доме одного из самых уважаемых людей в Мангазее.

Миновав двор, Ивашка остановился у крыльца большого дома. Здесь, рядом с дверью второго жилого этажа, был прибит высокий шест с «маховкой» – деревянным голубем на верхушке, что, как живой, рвался сейчас под ветром ввысь, помахивая упругим хвостом из жестяных пластинок, на конце которых бойко позванивал маленький колокольчик.

Чем-то далеким, неизъяснимо щемящим душу, повеяло вместе со звуками этого колокольчика, и Ивашка тут же вспомнил детство, рыбацкое поселение на берегу моря, где такие же вот голуби-маховки были прибиты над избой каждого мореходца. Вспомнил он и слова отца, сказанные как-то о маховках: «...Звон сей, не смотри, што он от колокольца малого, силой наделен отгонять горе-злосчастие да погодушки злобные, што всегда идут поперечь пути людей дела морского...» И пусть сейчас Ивашка не пребывал в трудах корабельных, но все равно звон маховки над домом Савватия неприятно поразил его, будто предостерегая... «Это к чему же такое? – спросил сам себя Ивашка. – Неужто в граде сим еще большее горевание ждет меня, чем узнал я ноне, и маховка-колоколец вещает мне о том?...» Неприязненно глянув еще раз на деревянного голубя, плывущего в вышине, он поднялся на крыльцо и вошел в сени. Из-за второй, неплотно прикрытой, двери слышались вскрики спорящих о чем-то гостевников Савватия, постукивание кубков, смех. «Витийствуют...» – усмехнулся Ивашка и степенно, неторопливо, чтобы никто не подумал, будто так уж спешил человек сюда, перешагнув порог высокой просторной горницы. Он тут же окунулся в многолюдье, пестроту и шумную разногласицу, особенно заметные после глухой тишины мангазейских улиц.

Издавна в этом городе, крепко-накрепко связанном с морем, корабельщики были первыми и самыми уважаемыми людьми. Ивашке же, одному из наиболее удачливых и умелых из них, гости Савватия воздали особый почет. При виде Ивашки все как один встали, выжидая, пока он осушит ковш с брагой, а потом молча выпили за его здоровье.

То, что после этого каждый из них вновь заговорил, заспорил о своих делах, тоже было знаком уважения к гостю: «...Пусть, мол, осмотрится, послушает, о чем люди судачат, а потом, если надобно, и сам молвит што...» Это как нельзя лучше устраивало Ивашку, который после дальней дороги любил молча, не спеша посидеть вот в таком застолье у Савватия.

Душа Ивашки в эти минуты жаждала вдохновения, легкости мыслей и таких же легких бездумных слов, что звучат в ушах человека и затихают тут же, как едва слышный ночной ручей, плеснувший невпопад говорливой волной.

Нравилось Ивашке, полузакрыв глаза и потягивая крепкую брагу, прислушиваться к тому, о чем судачили здесь на многолюдье, бывало степенно, а бывало и с криками, и битьем шапок об пол, да еще и с клятвами, от которых многие, слыша их, открещивались тайно.

Не изменил своему обычаю Ивашка и на этот раз, долго сидел, помалкивал, потом неторопливо, как бы невзначай, огляделся вокруг. За время, пока он хаживал в морях, здесь почти ничего не изменилось. Виделись те же темные, аккуратно выскобленные стены, в переднем углу большая в серебряном окладе икона своего поморского письма, на которой Николай-угодник походил скорее на веселого да удачливого корабельщика, нежели на изможденного старца, каковым ему полагалось быть.

Влево от двери высился большой горбатый не то ларь, не то сундук, окованный медными и серебряными цветами, даренный еще давно Савватию торговыми людьми из Любека-города «за кормицкое художество и прочее умение в делах морских».

Здесь рябило в глазах от пестроты, смешения красок, фасонов и линий. Царящие вокруг беспечность, своеволие, постоянное общение с людьми, идущими на Русь и из Руси, с теми, кто побывал в краях иноземных и вовсе неведомых, наложило отпечаток и на одежду мангазейцев. Здесь не было ничего устойчивого, постоянного: многие старались одеться позавиднее, поярче, причем так, чтобы все видели, насколько обладатель этой одежды к ней равнодушен.

Тут были посадские ремесленники в неожиданно богатых одеждах из алтабаса – персидской парчи, подпоясанные стертymi, грязными веревками, или такие, чьи засаленные однорядки и вовсе ветхие кафтанишки были перехвачены цветастыми наборными поясами с массивными застежками-аграфами, усыпанными драгоценными камнями.

Старые казаки из первых поселенцев Мангазеи и здесь не расставались, с грубыми овчинными шубами, вывезенными в свое время из Руси. Казаки помоложе, успевшие побывать на многих дальних и ближних торжищах, красовались в заморских кафтанах цветного сукна, а то и в стеганых восточных халатах.

Здесь люди вовсе не воинского обычая: кузнецы, оружейники, иные ремесленники – приносили с собой такие узорчатые с серебром и вороненой сталью пищали, что им мог позавидовать любой воевода или боярин.

Тут вольные охотники-щеголи со старательно подстриженными бородками и усами, и те, кого называли «дичью тундровой», заросшие волосами до потери человеческого облика, хвалились турецкого изделия саблями с узорами из серебра, а то и из золота, кривыми «медвежьими» ножами, луками и стрелами здешних самоедских племен. Кстати, самоеды навевались сюда довольно часто. Вот и сейчас группа их человек в восемь, давние дружки Савватия, расположились в углу, сидя на корточках, и не поймешь, дремали они или слушали спорщиков.

Были здесь люди, попавшие в Мангазею своей охотой по покругу-найму. Были и такие, которых давно разыскивали на Руси для сыска и казни. Мореходцы и монахи, приискатели новых земель, казаки и рудознатцы-колдователи, приказчики и писцы, люди с именами и без имен – все это был народ, чьи немудреные дела и заботы, скупые радости и даже свары всегда были близки Ивашке. Он приглядывался и на всякий случай выбирал кой-кого из них, стараясь, чтобы выбор этот был без ошибки. Ведь мало ли как бывает на свете, а вдруг доведется с таким вот человеком и у кормила стоять в непогодь морскую и на прихвостней воеводских идти? И хотя томила, не отпускала Ивашку неизбывная боль и тревога об Ерминии, здесь он немного оттаял, отошел сердцем.

Выдержав срок, положенный для того, чтобы почетный гость получше огляделся, Савватий с двумя серебряными чарками в руках подошел к Ивашке. Невысок был Савватий, но

столь крепок и крут в плечах, что выглядел громоздким и неповоротливым, хотя на самом деле ловкости его мог позавидовать любой молодец.

Вот уже и полсотни годков стукнуло Савватию, но на моложавом лице его нельзя было приметить ни единой морщинки, как и седины в его бороде и усах. Так же по-молодому быстрым и уверенным был взгляд Савватия, хотя временами, особенно в минуты раздумий, его зоркие с прозеленью глаза полнились суровой неприступностью. Сейчас Савватий, по всему видно, был в неплохом расположении духа, ну а его всегдашняя приязнь к Ивашке ни для кого не была секретом в Мангазее.

Помолчав, Савватий сочувствующе произнес: «Слышал про гореваньице твое, Ерминии касаемое». И тут же, положив руку на плечо Ивашке, сжал покрепче: не кручинься, мол...

Ивашка, которого это сочувствие тронуло больше любых многоречивых излияний, виду не показал, лишь кивнул согласно. Они выпили вновь, помолчали; и лишь потом Савватий повел речь о своих заботах, да так, словно они с Ивашкой только недавно прервали разговор. – И меня, друже, доука нудит-разъедает. Сам подумай, в целовальниках легко ли хаживать...

– Я и то дивуюсь, Савватий, откуль ты терпение берешь, речи и дела вести со сволотой воеводской и купецкой впридачу?

– Э-э, товарищ мой корабельной, ты о том прикинь, што до меня трое целовальников сменилось, а я в звании этом пятый год хаживаю...

– Выходит, умеешь ты с ними.

– Я место заказного целовальника исправно веду и прям в делах без лукавства, и то воеводе ведомо. А што порой сирым да обиженным уступку творю, так то дело божье, и тут мне воевода не указ.

– Истинно так, – согласился Ивашка и тут же подумал, что весь этот разговор Савватий затеял для того, чтобы отвлечь его от горестных мыслей. И еще Ивашка подумал о том, что сердце печальми разрывать да плавиться, пусть и в душе, кому польза, а надо так вот, как Савватий, дело свое вести неотступно, добиваясь правды наперекор всему.

– Только ли в том забота, што девку любую мне забрал воевода-злодей, – неожиданно горячо проговорил Ивашка, чувствуя, что на этот раз, как он ни сдерживает себя, боль его так и рвется из души, ищет выхода в слове человеческом. – То обычай их княжецкой да боярской – подлый, – продолжал Ивашка, – им малый человек – ништо! Не замечают вовсе, а ежели поглядят, то как на место пустое. А вот мы, к примеру, корабельщики, ветерком вольным набалованные, нам ежели не дать дышать как желается, то и на свете к чему обретаться...

Притихшие было гулевщики Савватия начали все дружной поддакивать Ивашке. Пламя сальниц, будто в лад их крикам, тревожно колеблясь, освещало взволнованные лица, бородастые и совсем юные, мелькали крепко сжатые взнесенные вверх кулаки, развевающиеся полы кафтанов. Вот уж вскочил на лавку гулеван из гулеванов, вольный мангазейский охотник Корнилка Корнильев. Статью да пригожестью своей, будь он в человеческом, а не в запойном видеобличье, мог бы смело похвастаться Корнилка, но сейчас только и хватило его разогнуться молодецким станом да плечи развести пошире.

Волосы у Корнилки не благообразно, не в кружок подстрижены, а космами сбились, по плечам развеваются. Лицо, молодое еще да ладное, опухло, щетиной клочковатой заросло. Глаза шальные, злое буйство в них так и пышет. В сильных, узловатых пальцах с обломанными ногтями судорожно зажата тяжелая десятихвостка – ременная плеть.

– Вот голубушкой этой трижды меня воевода охаживал! – выкрикнул Корнилка. – А намедни я плеть эту у него украл, за наилучший подарок теперь храню. Ай грех будет, ежели мы гиль разведем, да я плетью этой по спине воеводской пройдусть?..

– Любо! – как один пристукнули по столу гулевщики.

– За твои обиды, Ивашка, да за наши, ай не стоит такого вершить? – бушевал Корнилка. – Всех мирских подыдем, знак подадим – всяк за нами пойдет!

Видя, что гости его не в меру расшумелись, Савватий бесцеремонно сдернул Корнилку с лавки.

– Будя, будя, не мочны мы такое без слов Марфы Ильинишны творить. С ей совет держать надобно.

– А и што, и верно, и так оно! – послышалось со всех сторон, и только Корнилка остался непреклонным. Он успел на ходу осушить добрый ковш браги и, подбоченившись, пошел на Савватия.

– А и не для Марфы Скорбеихи учал я шуметь! – задиристо выкрикнул он. – Ничьего верха не хочу над собой. Всех сбросим: и воеводу, и старшину гостевую купецкую, и Скорбеиху заодно!..

Эти слова Корнилки, как видно, сильно рассердили Савватия. Он насупился, схватил буяна за шиворот и, протащив по полу через всю горницу, пинком выбил за дверь.

– Матушке Марфе Ильинишне об шуме этом неча молвить, – как ни в чем не бывало произнес Савватий, повернувшись к гостям. – Тот Корнилка проспится, сам с повинной миру придет, в ем и дури и добра – поровну, а так он што ж, мирскому делу верный.

Выдворение Корнилки хоть и подействовало отрезвляюще на многих гулевщиков, все ж до конца не успокоило их. Переждав малое время, они вновь загомонили, сгрудившись вокруг Ивашки, поддакивая ему, а то и добавляя словцо-другое покрепче.

Хилый, большеглазый ремесленник, в чьих сутулых плечах и силы-то, казалось, чуть-чуть, неожиданно могучим голосом возвестил: – Люду сирому от жесточи воеводской деваться седни некуды. Тако дале пойдет, то и нам иным православным, и вот им. – Он указал на самоедов. – Чую, в едину дверь тесниться – прямехонько на тот свет!

– Братцы! Неужель так и не сдюжим со сворой воеводской и прочей набольшой?! – не то спросил, не то в горести воскликнул, пьяно разводя руками, пожилой корабельщик. – Я иль запью, иль в земли полуночные подамся, а зрить такое у меня силушки нет...

И опять пошло-загуляло по горнице хмельное буйство. Каждый свое выкрикивал, жалуясь, сетуя, угрожая, и то и проклиная жизнь нескладную. И только один Савватий, на этот раз не унимая никого, сидел у стола непонятно улыбаясь, не поймешь, то ли осуждая, то ли одобряя весь этот шум, учиненный его гостями.

Глава 2

Внешне Скорбеева ничем не отличала Ивашку Амосова среди близких ей мирских: в общении с ним была холодновата, а случалось, и ругивала за бесшабашность и не в меру буйный нрав. Но вместе с этим ей всегда по душе была мореходская умелость первого мангазейского корабельщика – качество, которое она, человек навсегда сроднившийся с морем, постоянно ставила на первое место в жизни.

Каждый раз, когда Ивашка появлялся в городе, без меры заласканный и исхлестанный ветрами, вволю покачавшийся среди пенной круговерти волн, Скорбеева не только от души завидовала ему, но и печалилась той печалью, что ложится на сердце тонкой сетью-паутинкой, воскрешая сожаления о столь тяжелой для нее разлуке с морем.

Неуступчивая в горестях, непривычная к сетованиям на свою судьбу, она давно научилась сдерживать, а то и безжалостно гасить волнения, что нет-нет да и вспыхивали в душе отголосками ее давней мореходской юности. И поскольку Ивашка был прямо причастен к этим волнениям, она старалась как могла скрыть гнетущие ее мысли за внешней холодностью и едва заметной тонкой усмешкой. И недаром порой думалось Скорбеевой, что ничего бы не пожалела она сейчас, отдала бы что угодно, лишь бы вот так же, как Ивашка, хоть раз единый пройти по зыбкой морской дороге, ветром шальным подышать вволю, водой зеленчатой лицо омыть.

У сверстниц Марфы Скорбеевой в пору юности ее, подружек пинежских, годы текли размеренно и степенно. Хороводы и посиделки, церковные службы и работа по дому, гадания на праздники на «суженого-ряженого» – вот и все, чем жили, чем тешились. У Марфы же все было не так. Родителей своих она не помнила – сгинули они во время моровой язвы. Росла у сестры матери, тетки Аникеи, нравом была замкнутой да не по годам, не по месту гордой. С детства ее томила удивительная и неведомо откуда пришедшая жажда познать свет, увидеть дивное, самой побывать в краях дальних-полуночных, о которых не раз упоминал-рассказывал ее дядя, Курбат Щедров, по прозвищу Огнивец. Нарекли его так за веселость и завидную горячность в любом деле.

Одним из первых среди пинежских поморов ушел он за Камень – хребет Уральский. Встречал ветры силы невиданной и льды вековые на островах заснеженных. Видел гиблые тундры и грозные хляби Мангазейского моря да и в самом мангазейском сторожевом остроге побывал дважды, на месте которого ныне сей град и крепость красуются.

«...Дядюшка, Курбат Трофимыч, свет мой приветной да ясной! – против воли вырвалось у Скорбеевой. – Сколь дорога и мила мне память о тебе! Ведь это ты, ты повел меня за собой в пути дальние, после чего и жизнь пошла, как заря трепетная, в злате да багрянце, что в час заветный счастье человеку сулит навечно».

Душа Марфы в скитаниях птицей летела навстречу дорожным страхам, препонам-тяготам; и все было нипочем, потому что мир раскрывался перед ней видом и красой новой, чудесной, не ведомой ни самой Марфе, ни спутникам ее бывалым и умудренным жизнью. Думалось, так жить – и райского блаженства не надобно, идти бы и идти дорогами неизвестными и морем, не мешкая, к новым дивам, а вышло этих дорог для Марфы и совсем мало, а горечи они до скончания века ей ох как прибавили!..

Все прервалось, остановилось, а счастье короткое судьбой злою в прах развеяно. Где-то не за горами уже и старость ее бродит, в гости незваные собирается, и тут бы как раз жизнь поспокойнее выбрать, а заодно и место для жизни той тихое, незаметное, а здесь, как назло, Мангазея приворожила, приковала к себе, и теперь уже, видно, навсегда.

Некоторое время Скорбеева сидела, расслабленно откинувшись к стене, и в глазах ее теплилась легкая спокойная усталость. Но вот лицо ее посуровело, стало таким, каким оно бывает у людей, решившихся на смелый, может быть, даже рискованный для них поступок.

Гибко разогнувшись, она легко поднялась с лавки, подошла к поставцу с посудой. Раскрыв его, взяла большое фигурной чеканки серебряное блюдо и кусок темно-желтого с красноватыми прожилками воска. Наполнив блюдо водой из берестяного туеса, Скорбеева аккуратно поставила его у края стола, затем положила воск в небольшой медный ковшик, поднесла его к огню сальницы.

Огонь, горевший ровным округлым пламенем, качнулся раз, другой; воск в ковшике стал таять, запузырился, чуть горьковатый медвяный запах волнами заходил вокруг.

Едва Скорбеева наклонила ковшик над блюдом и струя расплавленного воска коснулась воды, как вода сразу же ожила, заходила кругами. Светлые грани блюда, как бы приняв эту игру, тут же заискрились, отражая пламя сальницы и хитросплетения таинственных узоров, что щедро и неутомимо закручивал, расплываясь по воде, воск. Он то темнел, то маслянисто и многослойно отсвечивал, а узоры возникали один за другим «ожерельями зеркалец-чешуек, трепетно подрагивающими лентами-змейками, узлами-цветами, а Скорбеева, склонясь над блюдом, безотрывно вглядывалась в воду, сдерживая дыхание.

Но вот успокоились, померкли отсветы пламени в гранях серебряного блюда, и между озерцами медленно переливающегося воска, как показалось Скорбеевой, прошли чередой невесть откуда взявшиеся быстролетные туманные облачка.

Скорбеева и ждала, и боялась этой минуты, чувствуя, как все жарче и жарче начинает стучать сердце, а голову кружит, обволакивает хмельным туманом. Вот жар этот перекинулся и на все тело, дрожь прошла по рукам и ногам, отозвалась в ушах рассыпчатым неземным звоном, и тут же удивительная легкость наполнила все существо Скорбеевой, неся умиротворение, светлый покой и столь желанный простор душе. Думалось, что сейчас ей все доступно, все можно, и даже до чуда предивного, ежели таковое случится, рукой подать. Скорбеева тут же склонилась над блюдом, и вот уже в овале его, в окаймлении закрученных узоров стало протаивать белесое, чуть подрагивающее пятно. Очертания его были неуловимы, менялись, наплывали и исчезали до тех пор, пока пятно это не высветлело совсем, и за ним, как в широко распахнутом окне, не показался сначала неясно и сумрачно, а потом ярко и зримо мир ее отрочества.

Как со дна омута, увлекаемое чудесной силой, всплывает при гадании только что брошенное туда кольцо, так и из глубин души Скорбеевой всплыло вновь давнее, заветное, поросшее, как травой повиликой, горестью и светлой печалью... Вот берег реки родимой – Пинеги, весь в соснах и елях могучих, небо с изморозью ненастное, и дядюшка, Курбат Трофимыч, ведущий с ней поучение-беседу.

– Люба ты мне, племянница, и смелостью, и умом, и статью, однако же зря за мной ходишь, зря просишься. Не бабье то дело – в морские пути пускаться...

Тетка Аникея – рядышком. Стоит степенно, вроде бы одобряя слова супруга, но стоит тому отвернуться, подталкивает незаметно Марфу, наклоняется к ней, шепчет: – Не кручинься, девка, вот в скорости Святки подойдут, тогда погадаем – поспрошаем судьбинушку твою, и уж супротив гадания, ежели оно с добром будет к тебе, и сам Курбат Трофимыч не пойдет.

На Святки гадали в лесу, ночью, на глухой дальней поляне. Обступили ее плотно могучие замшелые ели, между корней которых гнездились кустарники и камни-валуны, с заплесневелыми, растрескавшимися боками, где по щелям таится вековой, никогда не тающий лед.

Вот в круг из ярко пылавших костров входит с берестяным туеском в руках тетка Аникея. На болезненно угловатом лице ее тревожно светятся широко открытые глаза. Она медленно поднимает голову, долго всматривается в густо-багровое с черными подпалинами небо, затем начинает выговаривать обязательные при святочных гаданиях слова: „... Ты скажи-ответствуй, судьбинушка, летать ли Марфиньке белолицей соколицей али ползати ей ужом извивчатым?

Есть ли малину сладкую аль рябину горькую? Встретить-повидать ей добра молодца, а может, и мужа доброго али ежедень плакати горькою бобылкою...“

Захватив в туюске полную щепоть измельченной в пыльцу плаун-травы, Аникея рассыпала ее над головой Марфы, ловко подожгла заранее заготовленной головней из костра. Тут же вспыхнули-поплыли по воздуху все выше и выше трепетные огоньки, рассыпаясь через минуту-другую разноцветными язычками-искрами.

Помнится и то, как назавтра тетка Аникея строго выговаривала мужу: „...Сама плаун-трава девке дальний путь кажет. Бери ее с собой, свет-Курбатушко, доброй помощницей тебе будет да и свою судьбу, чую, там найдет...“

Как в воду смотрела тетка Аникея. Судьба эта пришла к Марфе в образе казачьего пятидесятника Степана Скорбеева, правой руки и любимца Курбата Щедрова.

Как увидел Степан, как ловко с веслами и парусами управляется Марфа, да как метко (другому мужику впору) бьет из пищали, как бесстрашна она в бою и вынослива в походе, так и подошел к ней с поклоном: „Прошу тебя, Марфа Ильинишна, женой-подругой быть, обиды да горести от меня и вовек не увидишь, а ласку и заступу добрую завсегда обещаю...“

...Нет, уж коли до Степана дошло, то смотреть ей в блюдо и гадать далее сил никаких не хватит. Вон ведь сколько годочков с поры той минуло, а все, как живое блазнится... Она вновь откинулась к стене, глядя в непроницаемо темное слюдяное окно, а перед глазами все мелькали и мелькали совсем уже сумбурные картины былого, вилась, скользила и таяла прозрачная нить воспоминаний, и казалось, что где-то рядом поет-надрывается в плаче ветер с дальнего моря, не то насмехаясь, не то сочувствуя горестным мыслям Марфы Скорбеевой.

Сколько лет и дорог было за ее плечами, сколько нагляделась и натерпелась всего, и все рядом, рядом со Степаном, и вот на тебе, кто же знал, что ждет ее в этом последнем походе в Мангазею. Был он на редкость страдным и тяжким. Пугали невиданная доселе злость ветров и беснование снежных бурь. Повязала горем, как веревкой крепкой, болезнь и смерть походного атамана Курбата Щедрова, и бой тот памятный с самоедами, который душу Марфы обезлюдил навечно.

Небольшой залив, где у берега приткнулись кочи вольных корабельщиков, был уже затянут молодым льдом. Справа и слева вплотную к воде подходили обрывистые каменистые увалы, а единственный выход в тундру лежал через узкий распадок. Здесь и поджидали корабельщиков самоеды.

Во время пути самоеды и раньше встречались казакам. Всегда были добры, приветливы, помогали во многом. Эти же, в темных одеждах с желтыми лоскутами, как на подбор, рослые, здоровые, хмурые – племя, что ли, какое воинственное или решившие разбоем душу потешить, встали на пути неотступно.

Казачья по своей давней привычке – не ждать, пока нападёт противник, а бить его первыми, недовольно шумели, просили Степана Скорбеева:

– Чего ждешь, Елизаревич? Как ты теперь заместо Курбата атаман походной, брось словцо, выбьем враз!..

– Выбить-то выбьем, так ведь головы зазря подставлять придется под стрелы да копья самоедские, может, миром решим дельце, подождем...

Ожидание это оказалось недолгим. Вскоре из толпы самоедов вышли двое, неторопливо направились к казакам. Скорбеева, как сейчас, видела смуглые до черноты лица тех самоедов, их глаза, полные злобой, ненавистью и презрением. Один из них, постарше, легко неся налитое силой, кряжистое тело, бесстрашно, почти не запинаясь в русской речи, хрипло произнес:

– Наш бог – золотая владетельница, сильнее вашего бога. Наша сила, – он махнул рукой в сторону воинственно выкрикивающих самоедов, – больше вашей силы. Или платите отступную дань, или покладете головы к капищу нашей владетельницы.

Скорбеев усмехнулся:

– Мы не данники здесь, это наша православная русская земля истари...

Самоед тоже усмехнулся, выкрикнул что-то по-своему протяжно, с угрозой и вместе со своим напарником пошел так же неторопливо обратно.

Кажется, не было среди корабельщиков человека сноровистей и быстрее, чем Степан Скорбеев, а тут оступись чуть, помедлил, перебегая меж нарт, и нашла его-таки самоедская стрела... Ночь опустила тогда самые черные покрывала на глаза и сердце Марфы, и она, обесиленная, иссушенная горячечным бредом-забытьем, лишь временами приходила в себя, безразличная и к своей дальнейшей судьбе и к тому, что после боя с самоедами и смерти Степана Скорбеева среди корабельщиков вспыхнула свара.

– Нет нам пути без Степана! – выкрикивали, яростно гомоня, казаки. – В обрат надо дорогу править, и вся недолга!

– Так оно!.. Верно!.. К архангелогородским местам время подаваться, душу отогреть, телеса в баньке попарить, винцом вволю ублагодвориться! – Кто за это кричал, кто против, а вот уж и за грудки друг друга хватать начали, распаяясь в споре до крайности...

Марфа очнулась, возвращаясь в этот мир из мира небытия в тот момент, когда в морозном воздухе раскатились гулким эхом звуки двух выстрелов, и сразу, будто поперхнувшись на полуслове, смолкли спорщики.

Приподнимаясь, Скорбеева тяжело, медленно разогнулась (быстро бы она сейчас не смогла) и так же медленно направилась к спорщикам. При ее появлении они чуть отступили в сторону, и когда она огляделась, то поняла, что здесь ей нужно было бы быть пораньше.

В центре толпы с пищалями наизготовку стояли первый друг и помощник покойного Степана – Авксентий, и один из самых занозистых и бесшабашных корабельщиков – Якунька Седло. У ног лежал, неестественно вытянувшись, еще один корабельщик, Федот, по пальцам которого стекала на снег густая, почти черная кровь. Скорбеева потрогала его лоб, склонясь, приложила ухо к груди и, поняв, что казак мертв, лишь тогда поочередно оглядела спорщиков.

– Это што ж, не успел Степан Елизарьевич богу душу отдать, как вы еще одного человека на тот свет уладили?

Эти слова, конечно же, пришлись не по нутру корабельщикам. Они вновь зашумели, выкрикивая про свои тяготы и обиды, и громче всех Якунька.

– А и кто ты есть, штобы нам, мужикам, здесь отповедь вести?!

Он сорвал с головы шапку, размахивая ею в такт словам, и так же в такт трепыхалась копна его свалывшихся, засаленных волос, задиристо поблескивали чуть раскосые глаза, топорщилась остроконечная бороденка.

Авксентий первым опустил пищаль, повернулся к Марфе.

– Не по злу и не по дурости уложил я Федотку: он ведь первым за пищаль схватился, в людей бил!

– А пошто ты пред ей покорно столь речь ведешь? – вновь взъярился Якунька, державший, как видно, сторону убитого Федота. – То наше воинское да мужицкое дело, а ей, бабе, от места сего – поворот-разворот!

– А ты ведь всегда дурнем был – не более, – сказала, как отрезала, Скорбеева, презрительно глядя в глаза Якуньке. – Ноне не свары заводить надобно, а путь править в Мангазею и далее...

– В Мангазею... – кочевряжился Якунька. – Я и сам бы туды не прочь, дружков там у меня есть, и сестрица Анисья обретается, да путь-то туды, ох как нелегко без атамана будет, а в обрат мы как по маслу покатымся.

Скорбеева, уже не глядя более на Якуньку, обратилась к остальным корабельщикам: – Каждого, кто казак истинный, с собой зову – волю наших атаманов покойных сполнять.

– А нам не след под рукой бабской ходить, зазорно то и не бывало! – все не унимался Якунька.

– Зазорно тебе?! – тоже распалаясь, воскликнула Скорбеева. – Коли так, то и ты, и иные с тобой крикуны сами дорогу обратную ищите, посмотрю, как сие будет у вас...

Как ни петушились сторонники Якуньки, но они сразу поняли, чем грозит им Марфа. Кто ж не знал, что после смерти Курбата Щедрова и Степана Скорбеева Марфа была единственным человеком в отряде, кто умел обращаться с корабельщицкими „списками“, старинными самодельными картами Мангазейского моря и многих окрестных побережий.

Марфа, что удивляло многих, была по своему времени на редкость грамотной, знала много такого, о чем казакам-корабельщикам и слышать не доводилось, вот и выходило впрямь: или за ней собирайся, или пускайся на свой страх и риск по тундре или морю здешнему, где сгинуть человеку, как плюнуть...

Возвышение Скорбеевой, возглавившей отныне отряд вольных корабельщиков, не обошлось без оговорок, косых взглядов, а то и попыток если уж не сбросить бабью власть», то хоть как-то, но принизить ее. Но тут, как говорится, нашла коса на камень, и вскоре Скорбеева заставила не только попритихнуть, но и вовсе покориться самых заядлых спорщиков и буянов во главе с Якунькой.

Надо сказать, что была у нее в этом деле и верная заручка, постоянная помощь и внимание Авксентия.

Как-то уже на подходе к Мангазее, когда, утомившись за день, корабельщики вповалку спали у костров, к Марфе подошел Авксентий, молча присел на раскинутую медвежью шкуру.

Без единой звезды и зарницы ночь неслышно стелилась над головами. Было безветренно, но промозглый воздух заставлял Скорбееву зябко кутаться в меховую полость, не раз согревавшую ее на привалах.

Авксентий испытующе и, что было удивительным, непривычно долго смотрел на Марфу, а потом, как бы опомнившись и застеснявшись, виновато и глухо произнес:

– Дело, может, и не мое, но не годно тебе в печали всегдашней быти, Марфа Ильинишна, для иного силы поберечь надобно.

– О чем речь твоя? – не поняв, спросила она.

– Во граде мангазейском и тяготы, и соблазны великие ждут тебя, не согнись от того, мореходская вдова.

– Аль жалеешь? – невесело усмехнулась Марфа.

– Што ж, и жалею... – еще глуше ответил Авксентий, – гляну вот на тебя, и на сердце неспокойно до тех пор, ну хоть волком вой!.. – Совсем необычно повел речь Авксентий, таился или не договаривал что, и, чувствуя это, Скорбеева острее ощутила беспокойство, которое всегда идет рядом с потаенными бабьими думами.

– Уж ты прости меня, Марфа Ильинишна, – продолжал Авксентий, – но в Мангазее я не житель, не помощник тебе. Стены града сего, суетность и гам людской, воевод и толстосумов глумление – это все не по мне, бывал там, знаю... Место мое – на морюшке али в тундре, где вольного ветерка вдоволь.

– Не указчица я тебе, Авксентьюшко, – горько вздохнув, сказала Марфа. – Мечутся по белу свету человеки, вот и мы оба не ведаем толком, где и как головы преклонить...

Авксентий вновь долго и непонятно посмотрел на нее и, понизив голос, произнес: – Сколь живу, я тебе верной подмогой буду до скончания дней, до смертного часа.

Скорбеева, до глубины души тронутая искренностью и теплотой его слов, смешалась, хотела так же ответить, но, помедлив, лишь благодарно кивнула головой. И снова почувствовала она, что еще что-то хотел добавить Авксентий, и теперь уже не от промозглой сырости, а от беспокойства зябко повела плечами.

Слухи об отряде вольных корабельщиков, которых ведет казачья жонка, достигли Мангазеи намного раньше того дня, когда отряд появился в городе. Сначала об этом неслыханном раньше здесь деле поведали пришлые охотники, потом самоеды, пригнавшие в город оленей

на продажу, а как-то под вечер к воеводе пришли сторожевые казаки с дальних мангазейских рубежей и, испросив разрешения, доложили:

– Небывало и невиданно то, батюшка-князь, чтоб баба корабельщиками верховодила, но сие правда суть. Зрили мы ту бабу, слышали ее: лепа обличьем, ума гораздого, нравом тверда. Корабельщики ее, кочи свои в лед вморозив, идут в город оленьим обозом, оружны вельми, зеленого и прочего запаса у них вдоволь, а вот каковы замыслы их, то неведомо...

О замыслах этих князь узнал через месяц, когда к нему в сопровождении двух угрюмых казаков-корабельщиков явилась сама их предводительница, заметная пригожестью молодявого лица и всем своим видом.

Из привычной глазу женской одежды только и была у нее, что суконная юбка да плотно повязанный черный платок. Не то душегрею, не то короткий полукафтан из выделанной нерпичьей шкуры аккуратно перехватывал по поясу широкий кожаный ремень с охотничьим ножом в узорчатых ножнах. На плече висела невиданная досель Уваровым явно заморского дела короткая пищаль.

– С поклоном к тебе, воевода-князь, – степенно и строго, блюдя чин, поклонилась Скорбеева, подавая ему дорожную грамоту. – Дозволь зиму перебыть в Мангазейском граде. Обузой не станем: охотники-зверовщики у нас добрые – добудем пропитаньице, да и своего дорожного припасу у нас вдоволь.

Князь покосился на Скорбееву и еще раз придирчиво осмотрел печати на дорожной грамоте.

– В тобольском граде долгонько гостевали?

– Наше гостевание ведомо: покуль кочи новые в дорогу ладили, месяц, не более, прошел.

– Воеводы тамошние каково здравствуют? – вновь, будто проверяя, спросил Уваров.

– Воеводы: князь Юрий Владимирович Сулешов и боярин Федор Иванович Плещеев, – все так же уважительно, блюдя чин, продолжала Скорбеева, – во здравии пребывают, как и владыко тобольский – архиепископ Киприан, коего напутственного слова и благословения на путь дальнюю мы удостоились...

– Владыко Киприан к людишкам малым куды как благорасположен, – не поймешь, одобряя или осуждая это, произнес Уваров и тут же осведомился: – По весне, значит, далее направитесь?

– Так оно, князь, – ответила Скорбеева, – далее на Енисей-реку и иные речушки полуночные, куды атаманы наши походные, царствие им небесное, вели нас.

– И што ж, среди вас атаманам тем замена есть? – поинтересовался князь.

– А я поведу. Меж мореходцев росла, с ними не единожды по морюшку хаживала, дела их разумею, да и грамота ведома мне довольно.

– Да ну? – не удержавшись, воскликнул Уваров, сам с трудом читавший по слогам. – И вельми разумеешь?

Скорбеева быстро оглядела княжескую светлицу и, увидев на одном из поставцов несколько книг, наугад взяла одну из них. Это было известное в то время «Жизнеописание великомученика Лукьяна», и Скорбеева тут же внятно и бойко прочла оттуда несколько страниц, чем вызвала немалое удивление князя. Но он был удивлен еще более, когда она взяла вторую книгу, подаренную ему заезжим датским купцом, и без запинки принялась за чтение на неведомом воеводе иноземном языке.

«...Роду простого, а умом, статью и повадкой иной боярыне впору, – подумал князь и, повременив подобающее случаю время, чтобы Скорбеева не подумала, что он так уж быстро согласился, сказал: – Што ж, живите, надобность какая будет в вас – кликну».

Корабельщики едва-едва стали обживаться на новом месте, как присмиривший до времени Якунька вновь задурил. Доводили о том не раз жители посада, где расселились корабельщики: иные мангазейцы с жалобами на Якуньку приходили, а однажды заявился сам заказной

целовальник Савватий Буза. Скорбеева попотчевала его винцом, побеседовали они о том о сем не торопясь, степенно, и лишь к концу беседы Савватий, будто бы ненароком, заметил: – Ты бы, Марфа Ильинишна, Якуньку свою поутишила, а то он сей день среди гулеванов да питухов посадских первым стал, едва што не умывается вином; а што шуму, драк да иных непотребностей от него, то тут и словес не подберешь...

Скорбеева тут же пообещала поговорить с Якунькой, приструнить его, но получилось так, что обещание это удалось ей выполнить только через месяц, – Якунька то в загуле отчаянном пребывал, то по тундре с бродячими охотниками мотался.

Явился он к ней сам сильно «навеселе», заросший, обрюзгший и помятый. Кафтан и меховой колпак его лоснились от грязи и были прожжены во многих местах.

– Ах, атаманша-мать, где ину такую взять! – ломался, пританцовывая, Якунька. – Поведай, пошто вспомнила о моей душе грешной, пошто я стал надобен тебе?

– Ты што же это, нехристь, вытворяешь, пошто пьянствуешь столь, пошто в буйстве погряз? Гляди, найду на тебя управу...

– Матушка, Марфа свет Ильинишна! – как подкошенный, рухнул на колени Якунька. – Не губи мою буйную головушку, дай вволю на свет белый налюбоваться!.. – Он дурашливо причитал, поминутно кланялся, всхлипывал даже, потом вдруг, как скоморох какой, перевернулся через голову и тут же пустился вприсядку, припевая:

Во Казани – пироги,
Во Твери – другие.
С бабой спорить не моги —
Все они дурные!

– Ну! – Скорбеева нетерпеливо топнула ногой, обутой в новый сафьяновый сапожок. – Доколь сие?

Якунька еще раз перевернулся через голову и как ни в чем не бывало уселся на полу посреди горницы.

– Как на духу, как на духу перед тобой, атаманша-мать! – завел он глумливой скороговоркой. – Ох, скоро сбросим мы тебя, поцарствовала, потопала ноженькой на нас, грешных, корабельщиков вольных, а ноне конец сему приходит. Соберем вскорости круг и тебя взашей, взашей, штоб не чванилась ты, баба, перед казаками.

Он нагло загоготал, вскочил, как подброшенный, и в руке его блеснул кривой нож.

– А может, пощекотать тебя, атаманша, а? Проси милости, а не то...

Скорбеева, не отвечая, подошла к поставцу с посудой, протянула руку наверх, пошарила там, перебирая и отодвигая что-то, и секунду спустя Якунька увидел в ее руке большой пистолет. «Степанов, заморский... – успел подумать он, – да ведь палить-то в меня побоится, стерва-баба! – На всякий случай Якунька стряхнул с себя дурашливость. Губы его, и без того тонкие, совсем в ниточку вытянулись, и, перехватив нож покрепче, он набычившись пошел на Скорбееву. – Я те попугаю!» – еще успел крикнуть Якунька, как над головой его громыхнул выстрел, пуля сбила меховой колпак, а сам Якунька пребольно ударился о косяк двери. Второго выстрела он ждать не стал – крутнувшись на месте, едва что не лбом выбил дверь, и был таков.

В бурном и тревожном течении мангазейской жизни, когда люди здесь давно привыкли к большим и малым шумствам, нередко вспыхивающим в городе, случай с Якунькой прошел бы незамеченным. Но поскольку это касалось Скорбеевой, то городские кумушки постарались, благо была им здесь возможность и от себя прибавить кое-что к тем слухам, которые постоянно вились вокруг имени этой непонятной для многих женщины.

Поначалу попытались было обвинить ее в сношениях с нечистой силой, чуть ли не ведьмой ее называли, но Скорбеева строго блюла посты, не пропускала церковных служб, щедро

жертвовала на богоугодные дела и мало чем отличалась от остальных мангазейских женщин. Ну, а когда стало известно о том, что удостоилась она вместе с другими корабельщиками благословения самого тобольского архиепископа Киприана, то все обвинения в ее адрес не только отпали, но и многие мангазейцы стали относиться к ней с большим уважением.

Грамотность, знание многих гаданий, умение толковать сны и дать дельный совет в трудных случаях жизни – все это невольно привлекало к ней людей. К этому надо добавить то, что была она, как тогда говорили, «знахаркой доброго толка», то есть ведала приготовлением многих лекарств и снадобий из трав, успешно занималась врачеванием.

Началу широкой известности Скорбеевой на этом поприще положил случай, когда она буквально вырвала из лап смерти ломанных шатуном-медведем двух таежных охотников.

Об этом в городе судачили по-разному: «...Уж куда как остра в деле своем – чудом охотничков на ноги подняла... – Чудом-то чудом, но есть тут, думается, и иная зацепка... – Руками разведешь, а то и перекрестишься... Ведь не наговором каким, не снадобьем, а приглядом, говорят, единым излечила...»

Пригляд этот был и силой, и гордостью тайной Скорбеевой, и тем, от чего она бы с превеликой радостью избавилась.

Первой все это заметила у Марфы тетка Аникея. Как-то случайно заглянула в глаза племянницы, повела дальше разговор, а сама все приглядывалась да приглядывалась, пока не заохала, всплескивая руками.

– Царица небесная! Глазищи-то каковы, так ты и приворожить, и в буйство несусветное человека бросить сможешь, а ну, глянь, глянь на меня, да попристальной эдак, будто добра да сна скорого мне желаешь...

Марфа послушалась, «уцепилась», что называется, глазами за глаза тетки Аникеи, и та скоренько эдак улеглась на лавку – заснула тут же, сладко причмокивая губами. Марфа испугалась, засуетилась, бросилась было за помощью, но потом будто подсказал ей кто: подошла к тетке Аникее, вновь, теперь уже смелее, стала вглядываться в ее глаза, не то уговаривая, не то приказывая проснуться поскорей. Тетка и вправду вздрогнула, зашевелилась, медленно открыла глаза, виновато, но и с опаской поглядывая на племянницу.

Марфа от этого еще больше испугалась и тут же вместе с теткой Аникеей отправилась за советом к поселковому протопопу.

Когда Марфа рассказала ему о случившемся, он поразмышлял некоторое время, потом помолился и изрек: – Сие благодать небесная на тебя снизошла, за которую и ты, и мы все словословить Господа должны. Осмотрительна будь с благодатью сей, греховных излишеств не допусти...

Береглась здесь Марфа как могла, всего-то два-три раза и довелось ей испытать себя вот так-то, помочь людям в беде и болезнях, а потом зареклась, зареклась... И вот только тут, в случае с охотниками, не выдержала, уж больно жалко их стало: молодых, пригожих да к страданиям терпеливых...

Поговаривали о делах Скорбеевой да приглядывались к ней и мирские верховоды, понимая, насколько она нужный и подходящий для них человек, но тут они не торопились.

Ближе к весне Скорбеева занедужила, слегла в лихорадке после жестокой простуды, да так и не вставала с лавки целый месяц. За это время у нее дважды побывал заказной целовальник Савватий Буза. Явился он и в третий раз, когда у Скорбеевой дело на поправку пошло. Приличия ради спросил о здоровье, посочувствовал, а потом, как бы между делом, сообщил:

– Потеря у тебя вышла, Марфа Ильинишна: корабельщики твои, покуль ты хворой лежала, из Мангазеи ушли – сманили их архангелогородские охотники, повели ко граду своему, благо дорожка им известна.

– Якунькина рука – без него не обошлось, – помрачнела Скорбеева.

Савватий отрицательно покачал головой:

– Здесь он, Якунька этот, меж двор шатается, до безобразия спимшись.

– Одна я, значит, ноне?

– Почему одна? А мы, люд мирской? Мы тебя в горестях не оставим. Ты нас в письменных делах, измышлениях-хитростях разных наставишь, у нас же в чем ином помощь и заступу верную найдешь.

– На добром слове – спасибо, но ина у меня забота ныне: путь мне продолжать надобно, како атаманами нашими указано было. Вот придет мне поправа, зачну казачков подбирать, которы посмелей да поспоривстей, и по весне в дорогу!..

– Подбирать... Народ-то в Мангазее все более случайный, а ведь в таком деле без людей верных в путь пускаться не след, о том подумай...

– Подумаю, – согласилась Скорбеева и внешне простовато, а на самом деле с хитринкой спросила: – Не пойму, чего ради вы такую заботу обо мне поимели?

– Э, вдова корабельщица, поживешь в Мангазее время какое – многое узнаешь.

Так они и поговорили в тот раз с шуточками, вокруг да около, но Скорбеева хорошо понимала, что все это не зря и что столь степенный и положительный человек, как Савватий, не стал бы вот так просто, без причины вести подобный разговор.

В этом она убедилась через месяц, когда у нее на подворье вновь появился Савватий. На этот раз ни шуток, ни присказок с его стороны и в помине не было. Вошел он, подчеркнуто сдержанный, посматривал холодно. Едва склонив голову в поклоне, поставил перед Скорбеевой на край стола туго набитый кожаный кошель. Скорбеева, умевшая почти безошибочно угадывать настроение собеседника, так же холодно и поджимая губы спросила:

– Чего-то ты, целовальник мангазейской, аль даришь-жалуешь мне што?

– Не я, а из тундры вот передать тебе велели золотишко.

– Это ж за каку такую благодать, кто расстарался?

– Да есть там один, Авксентием кличут... – Скорбеева развязала кошель, небрежно взяла сверху горсть золотых монет и так же бросила их обратно. – Он што ж, Авксентий, обогател аль разбоем промышляет? Ранее-то он бессребреником слыл.

Во взгляде Савватия мелькнула укоризна.

– Не то речешь. Он и ныне таков, а золотишко послал для дел справедливых, ежели такие случатся.

– Значит, то правда, что Авксентий атаманом у вольных тундровых ватажников ходит? Неужто и меня в ватагу сватает?

– Ну, в ватажниках тебе быти не след, а вот за правду да за волю людскую здесь, в Мангазее, поратовать было бы к лицу.

– Ох, Савватий-свет, ты меня, бабу, на такое дело зовешь, да мне ли такое вершить?

– Бабе иной, верно, дело такое не по плечу, а тебе, столь разумом умудренной, можно. Да и рука у тебя хочь и бабья, но крепка в делах многих, иному мужику не угнаться, так не только я, но и все мирские думают, в верховоды тебя кличут.

Совсем не по сердцу пришлось Скорбеевой это предложение. Ей ли было, все еще не остывшей после потери Степана, окунаться в путаницу хитросплетений мирских дел, а то и направлять их? Тогда она решительно отказала Савватию, но он был неотступен: приходил к ней еще и еще вначале один, а потом и с людьми из мирской общины, и постепенно Скорбеева уступила.

Минул не такой уж большой срок, и вот весомость ее слова стала все явственней ощущаться во многих городских делах.

Воевода вначале косился на Скорбееву, поругивал про себя и на людях, а потом и грозиться стал: «Куды суется, да кто ж она такая? Ужо доберусь до нее...» Но вот когда пришла, по его мнению, пора «укоротить и поставить на место сию злокозненную бабу», то было уже

поздно. Скорбеева быстро утвердилась в своем нынешнем положении верховода, – верховода мангазейской вольницы, и извести ее вот так, явно, князю было уже не под силу.

От всего этого прямо-таки корежило Уварова. Что там ни говори, как ни береди душу презрением, а приходилось сознаваться, что на сегодня сила этой бабы (видано ли такое?) мало в чем уступала силе его воеводской – князя издревле родовитого.

Обдорский князь Мамрук в Мангазею навещался нечасто, но всегда заранее оповещал об этом воеводу, а тут под вечер, как снег на голову, с хода подлетел на оленьей упряжке к воротам Ратилловской башни, а вслед и другие упряжки с его слугами подоспели.

Караульный пятидесятник со стрельцами попытался было задержать, расспросить для порядка самоедского князя, куда, мол, и зачем? Но тот лишь презрительно покосился, сплюнул, и упряжки, едва не рывком взяв с места, так стремительно пронеслись мимо обескураженных караульчиков, что тех только и хватило на то, чтобы испуганно отпрянуть в стороны.

– Рад тебе, рад всегда, – приветствовал вскоре гостя князь Уваров. Мамрук в ответ церемонно поклонился, поддерживая гостевой чин, поинтересовался здоровьем князя, пожелал удачи в делах.

Лицо Мамрука лоснилось. Припухлости у скул двумя жирными складками утяжеляли щеки, не поймешь, прятали или подпирали глаза. От этого они были не очень-то различимы, и думалось, что это на руку обдорскому князю.

«Ишь запрятал-занавесил зеньки-то, – улыбаясь приветно, а в душе с неприязнью думал Уваров. – Леший его разберет, басурмана сего, чего затеял, чего приперся на хлеба мои, чтоб ему пусто было и днем и ночью!»

Он глубоко презирал Мамрука и называл про себя «собачьим князем», но обойтись без него не мог. Немалую роль здесь играли влияние и власть над самоедами и особенно богатство Мамрука, его многотысячные стада оленей и, главное, пушнина: соболя, песцы, лисьи и иные шкурки тундровой живности, что щедро стекались ручьями к нему со всей тундры.

Прибыл с Мамруком и знаменитый на все ближние и дальние округи шаман Нохо в кухлянке темного меха, высокий, кряжистый, мрачный до неприятности старик. Говоря что-нибудь, он медленно шевелил вывернутыми губами, особенно заметными на покрытом шрамами безволосом лице.

И Мамрук, и шаман неплохо говорили по-русски, угощались не спеша, ели и пили все, что подавали на стол, похваливали-благодарили князя; и лишь к концу обеда Мамрук сказал, почтительно указывая на шамана: – Вот он, наш великий шаман Нохо, хочет спросить тебя, князь...

– Спрашивайте.

– Правда иль нет, – хрипловато протянул Нохо, – что у вас все слушаются женщину-шамана по имени Марфа?

– У нас шаманов нет! – раздраженно, как всегда при упоминании имени Скорбеевой, воскликнул было Уваров, но тут же от мысли, что пришла ему в голову, поспешил поправиться, как бы дружески, предложил:

– Шаман она – не шаман, а вот чудеса разные, слышал, творит, да хвалится при этом без меры. Вот ты и возмись, укажи этой женщине ее место, изничтожь силой своей, коли ты шаман настоящий да великой, как тут мне князь Мамрук молвил.

Нохо поправил кухлянку, богато расшитую бисером и увешанную соболями, горделиво вскинул голову: – Завтра я всем покажу мою силу и говорю, что после этого ваша Марфа не упадет, а так об землю стукнется, что поползет потом отсюда, как побитая худая собака.

Разговор этот стал известен в городе, и назавтра на подворье князя Федора Уварова и на всей близлежащей улице уже с утра толпилось столько народу, что вскоре и вовсе пройти было невозможно.

Как всегда, в таком деле сразу же нашлись спорщики. Одни утверждали, что верх одержит шаман, так как ему, «нехристю, басурману, сподручнее с волхованиями да чертями разными, прости господи, ближе быть...» Другие, и, надо сказать, что таких было немало, предсказывали победу Скорбеевой. Третьи говорили: «Затея эта естеству человеческому, христианскому противна, и все то творится воеводой, для которого хоть в малом чем посрамить аль извести Скорбееву – дело куда как разлюбозное!»

Только два раза волнуясь, расступилась толпа: когда подъехал на упряжке снежно-белых оленей шаман с помощниками и когда спокойно прошла меж людей Марфа Скорбеева.

Гул возник над толпой и тут же сник в ту минуту, когда вперед выступил воевода, князь Уваров. – Решили мы, я и князь обдорской – Мамрук, потеху сию вам гражданам мангазейским дозволить, тем паче что самоедин этот, – Уваров указал на шамана Нохо, – чудеса разные представить обещался... Оба князя уселись на поданные им креслица, обитые телячьей кожей. Челядь, старшина стрелецкая и казацкая, самоеды придвинулись поближе, и «чудесы», о которых только что говорил Уваров, начались.

Нохо подвели молодую важенку, белую, как облитую сметаной, беспокойную и норовистую. Шаман с большим бубном в руках едва слышно пробормотал что-то, потом несколько раз обошел важенку, как бы примеряясь, и вдруг, полуобернувшись, неотрывно устремил взгляд прямо в ее глаза.

Важенка забеспокоилась, задрожала, перебирая копытами, легко отпрыгнула назад. Шаман вновь подступил к ней, все так же не отрывая взгляда, будто вцепившись им намертво, и тогда важенка, еще сильнее задрожав, начала раскачиваться из стороны в сторону.

На что уж плотно теснился вокруг народ, но в эти минуты все, кто стоял поблизости от шамана, как могли отодвинулись подальше. Глаза Нохо были сейчас не просто страшны, а внушали ужас. В них попеременно вспыхивали искры, наплывала непроглядная мгла, вовсе закрывающая зрачки, а то, будто вмиг осветленные, становились они белесо-бесцветными, и тогда еще сильнее ощущалась струившаяся из них непонятная сила.

Вскоре важенка, боднув рогами землю и высоко подпрыгнув, безжизненно рухнула на грязный снег, умывшись розовой пеной. Некоторое время Нохо стоял неподвижно, и лишь лицо его подергивалось, перечеркнутое гримасой боли, да прерывистое дыхание срывалось с посиневших губ, потом он, как бы придя в себя, уже увереннее вздохнул и громко оповестил, указывая на важенку:

– Видите, она мертва, мой взгляд убил ее!

Многие в толпе стали креститься, а те, кто посмелее, подбегали, ощупывали важенку и, покачивая головой, с испугом и неприязнью поглядывали на шамана. Вот он крикнул что-то своим слугам, и те, тут же подогнав упряжку, начали устраивать на нартах важенку, как их окликнула Скорбеева.

Выйдя из толпы, она неторопливо подошла, отстранила рукой шамановых слуг, по очереди смело, но ласково погладила каждого из оленей, и те вдруг потянулись к ней, не отводя глаз от Скорбеевой.

Будто единый вскрик, спрессованный из тысячи испуганных, молящих, негодующих, а то и ненавидящих вскриков, прошел над толпой, когда все четыре оленя шамановой упряжки вдруг рухнули – безжизненно застыли на земле у ног Марфы Скорбеевой.

Первым бросился к ним шаман. Он по несколько раз торопливо ощупывал каждого оленя, дергал за рога, пытался поднять на ноги, но все было напрасным. Шаман растерянно потоптался на месте и, пересилив себя, повернулся к Скорбеевой. Он безмолвно протянул руки, указывая на оленей, то ли спрашивая, то ли пытаясь попросить о чем-то, и тогда Скорбеева, едва заметно усмехнувшись, вновь подошла к поверженной ею упряжке.

Лишь на секунду-другую возник над толпой легкий стремительный говор и тут же, сникнув, пропал. Все затаили дыхание, когда Скорбеева вновь склонилась над оленями. По ее губам

было заметно, что она нашептывает им что-то, настойчиво заглядывает в глаза, легко касается ладонью; и олени один за одним вдруг зашевелились, задергались, стали подниматься на ноги, широко раскачивая ветвистыми рогами.

Желая, как видно, окончательно добить шамана, Скорбеева подошла к нартам, где лежала важенка, которую шаман недавно объявил мертвой. Скорбеева склонилась над ней, поглаживая лоб между рогов, подергивая за кончики ушей, принялась вновь наговаривать что-то, быстро шевеля губами и заглядывая в глаза важенке ласково и просяще. Вот у той дрогнули веки, она неожиданно забила ногами и под восторженный рев толпы легко прыгнула на землю.

Вскоре упряжка тронулась с места. Все олени и важенка с ними как ни в чем не бывало весело кивали-покачивали на ходу рогами, а позади плелся донельзя удрученный, растерявший всю свою спесь и важность шаман Нохо. Он часто наклонялся, набирал полные пригоршни земли со снегом и посыпал себе голову, что должно было обозначать высшую степень позора для мужчины тундры.

Глава 3

В августовский солнечный, но прохладный день 1623 года на широкой скамье у архиерейского дома в Тобольске сидел худощавый, средних лет человек. Одетый в поношенный, но чистый и аккуратный подрясник, простые сапоги и грубую суконную накидку, он мог бы сойти за кого-нибудь из архиерейских служащих, если бы не золотой византийский крест на груди и посох черного дерева с золотой инкрустацией, стоящий у колен. Это был первый тобольский архиепископ Киприан Староруссенников, возведенный в этот сан два года тому назад московским патриархом Филаретом.

Отсюда, с Троицкой горы, где располагались все постройки архиерейского двора, открывался величественный вид на привольное и красочное до ряби в глазах разнотравье иртышских берегов. Река, принявшая неподалеку воды Тобола, пенилась раскатистой волной у первой лесистой кручи, играла серебристой чешуей на мелководье у песков и кустарников левого берега.

Своенравный, торопливый и беспокойный в верховьях Иртыш был здесь полон сдержанной мощи, удивлял раздольностью плесов, где течение неумоимо выплетало струйчатые прошвы-кружева. Киприан любил это место, часто бывал здесь, отдыхал, любуясь дикой красотой лежавшей вокруг земли.

Над дальними лугами и гребенчатой кромкой леса, темнеющей густо-синими пятнами, струилась дымка. Призрачно-сизоватые полосы ее ближе к реке, впитывая россыпи неярких солнечных лучей, отсвечивали мягкими серебристыми бликами. Тянуло бодрящим, в меру прохладным ветерком, настоенным на сладковатых запахах луговых трав. В светлом до хрустального блеска небе таяли плоские, как блины, облака. Киприан, устремив туда взгляд по обыкновению спокойных, по-детски ясных глаз, был недвижим. Нервные, тонких очертаний руки лежали на коленях. Лицо, с аккуратной бородой и усами, выглядело добрым, щеки, несмотря на трудно прожитые годы, теплились юношеским румянцем, и только неожиданно резкая складка над бровями говорила о скрытом до времени, властном и непреклонном характере этого человека.

Не гордыней обуянный и не жаждой славы, а единым желанием причастным быть к святому делу возвеличивания земли русской шел Киприан на первый в своей жизни духовный подвиг. Ах, как давным-давно минули те деньки... Киприан на минуту прикрыл глаза и тут же увидел себя молодым, легким и несгибчивым в горестях, истово богомольным и донельзя рассудительным в делах духовных и житейских. Не зря же по слову и наказу новгородцев он, тогда еще молодой архимандрит Спасского Хутынского монастыря, держал в годы лихолетья на Руси посольский чин, уговаривал шведов на союз с Новгородом против лиходеев, пришедших на Русь с вором Отрепьевым. И хотя шведы не допустили тогда Киприана в Стокгольм и по велению королевского судьи Карла Эрландера морили голодом, смеялись в лицо и даже били на морозе раздетого, он все вытерпел и, ни слабости, ни убогости не показав, достойно в Новгород вернулся.

От желаний былых и стремлений, от упований сладостных, глубоко в сердце носимых, мало что осталось – все перегорело в душе. Может, и к лучшему, что благословил его московский патриарх сюда, в тобольский град. Сластолюбцев, обуянных завистью и ханжеством великим, что в Москве, вокруг царского трона, обретаются, тут почитай что и нет. Нет и догляда лишнего, что незримыми путами руки связывает. Может, именно здесь, на земле дикой, и взрастит он, раб божий Киприан, семена истинной веры и любви. Ему ли подвигов бояться, тягот земных и небесных? Ведь не стяжатель он, не корыстолюбец, а был, есть и будет до скончания дней своих воином за укрепление веры православной, как и всей земли благодатной русской.

Неподалеку от Киприана примостился его любимец, подъячий архиерейского двора Савва Есипов. Рыжеволосый, задиристо-вихрастый и курносый, он сидел сейчас на чурбаке, сутуля узкие плечи, притихший, настороженный, готовый в любую минуту вскочить, бежать или тут же немедленно выполнить наказ или пожелание Киприана. Надо заметить, что Савва по своей натуре был далек от угодничества и низкопоклонства, но искренне любил, даже по-своему боготворил Киприана за великий ум, бескорыстие, редкую щедрость души и тонкое умение вести беседы с людьми.

«Мне бы хоть крупицу малую того, что отпущено небом владыке Киприану, – не раз думал Савва. – Ну вот, к примеру, кому бы другому мысль столь благостная в голову пришла, чтобы собрать всех еще оставшихся в живых сподвижников славного Ермака Тимофеича и поклониться им, как они того достойны, и опрос учинить о том, что помнят они, что знают о тех годах своих стародавних. И в том, что летопись после опроса того появилась, нареченная „Как приидоша в Сибирь“ – тоже немалая заслуга владыки Киприана».

Резкие перемены в настроении Киприана не только не вызывали недовольство Саввы, но он всегда печалился, беспокоясь за столь любимого им человека. «Дивны и не всегда подвластны разуму человека деяния его, – думал в таких случаях Савва, – как понять их, чем начало и конец обозначить?» Ведь бывали дни, когда и на него «находило», и тогда он и жил и делал все как в полусне, отвечал невпопад, глядел на людей так отрешенно и странно, что те даже спрашивали порой: – Ладно ли с тобой все, Савва? Где им знать-догадаться было, что в эти часы приобщался Савва к некой благодати божьей, что освещала и разум, и сердце и наполнила их горячим желанием поведать людям о том, что на свете дивного есть.

Раньше всех это подметил всегда и во всем умом великим отмеченный Киприан. Призвал как-то к себе Савву, душевно повел речь:

– Вижу, што к делам письменным привержен ты весьма, мысли и движения сердец человеческих излагать гладко и разумно можешь. От сего дня и впредь наипервейшим делом своим будешь считать заботы письменные: заносить на листы бумажные все, что наиболее приметного и делу достойного узришь или узнаешь...

Не только благословил владыко Савву на дело письменное, но и дарением подтвердил благорасположение свое к любимцу: преподнес набор письменный из стекла венецейского. В наборе том были: чернильница в виде головы рыбьей, кубок толстенный с пучками остро заточенных гусиных перьев, плоская кругляшка-песочница в серебряной по краям оправе.

Этим письменным прибором Савва очень дорожил. Каждый раз пристраиваясь за столом и благословясь, обмакивая перо в темно-зеленые с радужным отливом чернила, Савва, преисполненный благодарности к Киприану, чувствовал себя путником, нашедшим драгоценный талисман перед дальней и сказочной дорогой. И тут же чудесными шмелями, воркующими странно-ласково, совсем по-голубиному, наплывали легкие волнительные мысли, звонном малиновым отдаваясь в ушах, и тогда рука с пером легко скользила по бумаге.

Ах, как хотелось в эти минуты Савве хоть немного быть похожим на Киприана, прикоснуться краешком малым к его великому умению! Сколько раз с трепетом душевным читал и перечитывал Савва «Синодик» – книгу, написанную Киприаном. Сколько раз завидовал легкости и прозорливой щедрости его пера, стройным, цветистым фразам в описаниях красот земных, суровой правдивости строк, повествующих о воителях Ермаковой дружины, о походах их в землю сибирскую. Может, придет времечко, когда Господь и его, Савву, вразумит в той же мере, и он осилит подвиг книжный, расскажет людям правдиво и от души всей о виденном и слышанном здесь: о войнах, потерях и тяготах безмерных, о крови и слезах человеческих, щедро оросивших югорские земли. И неведомо было Савве, что услышит судьба его заветное желание, распорядится им по-своему, и многолетний труд Саввы Есипова, названный впоследствии «Есиповской летописью», переживет века и известным будет не только в России, но и во

многих других странах замечательными описаниями самодийских и югорских племен в истории Сибирского татарского царства.

Никому бы не признался Савва, как трепетно ждал он тех редких минут, когда, отрешившись от дел и забот, достаивал его владыко вниманием.

Нередко это были откровенные, душевные беседы, или читал что-нибудь Савве Киприан – знакомил с книгами и летописями своей на редкость богатой по тем временам библиотеки. А то начинал рассказывать о столь милых его сердцу стародавних временах. Вот и сегодня с этого начал он речь.

– Как-то, еще в древних эллинских сказаниях, муж достойный, мудростью украшенный, Геродот, поведал о гиперборейцах – сиречь аримаспах. Человеки те в краях югорских сих обретались, пришли сюды после похода с великим королем вестготским Алларихом, Рим разграбившим и огню предавшим. Эти аримасы славились силой, умением воинским, великой ясностью ума, жили охотой и войнами с людьми иноплеменными. Тот же мудрец эллинской – Геродот – изрекал, што аримасы с града того латынянского – Рима похитили некого идола женска пола, Златой бабой именуемого. И будто бы та баба столь обличьем своим прельщала, что глянувший на нее единожды оставался навек уязвленным чарами ее бесовскими...

Савва насторожился. Было ясно, что его крайне заинтересовали эти слова, но он все же проговорил осторожно: – Об идоле сим – бабе златой, мне не раз слышать доводилось. Но винюсь, владыко, сомнения меня здесь обуревают: может, все сие и неправда вовсе – измышления человек праздных?

Киприан чуть хитровато глянул на Савву, вытащил из-за пазухи небольшой полотняный сверток, достал оттуда с десятков бумажных листков, испещренных плотной вязью скорописи.

– А вот внемли-ко, раб божий, поведаю тебе еще кое-што об дельце этом... – И он принялся неторопливо и внятно читать: «...А и опосля отца всех историй земных – Геродота, многие мужи разных народов великой мудростью украшенные, а такожды начальствующие над людьми воинскими и просто войны, о бабе той, называемой ими истуканом златым, речи вели, добыть и похитить ее тщились... Еще в году от Сотворения мира – 6426², войны и мореходцы знатные – викинги, хаживали в страну Бьярмаланд, или Биармию, место которой было на реке Вин, ныне Двиной полуночной именуемой. Славили викинги: исланы и норвеги в сказаниях своих – сагах: „Саге об Эгиле“, „Орвар – одсаге“, в „Саге Сноре“ и других, деяния их вождей-удальцов, именуемых: „Эрик – кровавая секира“, „Торир Хунд“ (Торир-собака), „Карли“, „Ян Гунштейн“ и протчих. Все те удалцы со дружины свои не столь торговать хаживали в Биармию, сколь добыть богатств стремились, что в капище Золотого истукана были. И более других тут удачлив был Торир Хунд – рыцарь короля норвегов – Олафа. Тот Торир до богатств идола златого и до него самого добрался, однако дале счастье воинское ему изменило, и он с остальными викингами едва ушел-отбился от стражей бабы златой».

А еще в летописи года 6906³, где о кончине епископа Великопермского Стефана речь идет, таки словеса значатся: «...Си бо святой святитель, новый апостол Пермская земля, блаженный епископ Стефан, божий человек, живяще посреди неверных человек: ни Бога знающих, ни законов ведящих, молящихся идолам, огню и воде и камню и Златой бабе и кудесникам и волхвам и древью...»

Тakoжды по слову епископа того же Стефана слуги его – монахи честные: Зосима Хваткий и Нежила Трунов, пришедшие со словом божьим в земли Пермь и Вятку, тако повествовали в летописи «О идолах и маннах прельщения»: «...Нехристи, людишки разноплеменные вокруг сущие, идолищу поклоняются, рекомому Златой бабой. Хотя нам самим зреть ту бабу не доводилось, были мы у леса заповедного, где она пребывает, откуда ной и стенания бесовские

² 6426 – 918 год по нашему летосчислению.

³ 6906–1398 год.

несутся, и служители золотого идолища в одеждах черных, приношения вокруг разбрасываемые собирают...»

В году 7025⁴ ректор Краковского университета Матвей Меховский в «Трактате о двух Сарматиях» писал: «...За областью, называемой Вятка, по дороге в Скифию, стоит большой идол, Золотая баба. Соседние племена чтут его и поклоняются ему, не минуя идола с пустыми руками, без приношения...»

Некий латынянин, барон Сигизмунд фон Гербертштейн, на Руси дважды побывавший, в своих «Записках с Московии», вышедших в году 7057⁵, писал: «...Золотая баба, то есть Золотая старуха, есть идол у устьев Оби, в области Обдоре. Он стоит на правом берегу. Рассказывают... что эта статуя, представляющая старуху, которая держит сына, а за ним уже опять виден ребенок, про которого говорят, что он ее внук...» Словеса сии, писанные такожды в летописях многих людей сибирских, утверждают, будто и впрямь та баба златая на обском берегу в Белогорье стояла. Ведь ведомо же стало людям русским, что после кончины воителя преславного Ермака Тимофеича панцирь его выкупил у татар кодский князек Алач, а затем в Белогорье прибыв, панцирь принес в жертву все той же бабе златой...

Чтение это окончательно лишило покоя Савву, зажгло в глазах его не то что огонек, а целое пламя любопытства. Видя это, Киприан решил до конца вознаградить ревностную любознательность своего подьячего.

– Еще доведу тебе, Саввушка, што один из служилых людей, коим в дружине Ермака Тимофеича ратоборствовать довелось, казак Вешняк Семенов, поведал мне, как по приказу атаманову ходили они с есаулом Богданом Брязгою на низ, на Обь великую, и там, на берегу белгородском, бабу ту златую зрили, из-за нее с вогуличами бились, но те сумели пересилить казаков, выбили их подале от бабы той...

– Значит, правда то истинная! – возбужденно воскликнул Савва. – И идолище – бабу златую – прячут где-то и по сей день?

– Выходит так, – согласился Киприан. – Был же слух, што после Белогорья утащили ее на Казым-реку, а потом и в тундру мангазейскую.

– Ах, найти бы, оком единым глянуть... – мечтательно проговорил Савва.

– Найти бы... – укоризненно посмотрел на него Киприан. – Да знаешь ли ты, как всегда рядом с идолищем тем идут и горе и погибель людская? Крови сколько и голов людских летит? А вот-ка... – прервал на миг свою речь Киприан и, до конца развернув полотняный сверток, вытащил оттуда ярко-желтый лоскут, привязанный к бронзовому колечку. – Казаки это мне намедни из тундры привезли. Таки лоскуты, символы бабы златой, носят те, кто берегут ее пуще глаза – самоедское племя ызык. Одежды их черны, а дела и души черней того во много раз. Злобствованиями и беспощадностью непомерной переполнены, именем идола того творят мерзостны дела, не жалеют ни своих, ни чужих – весь люд тундровый стонет.

– А што ж князь-то самоедской Мамрук в заступу за людишек своих не идет?

– Мамрук сам под рукой тех самоедов черных ходит, недаром они к нему шамана своего главного – Нохо, приставили. – Киприан хотел еще что-то сказать, но к нему подошел слуга.

– Зови, – выслушав его, велел Киприан и, как бы подытоживая свой рассказ, сказал Савве: – Не от суетности пустословья о идоле сем поведал тебе. Чую, здесь беды немалые грядут – укрепление безверию, и нам, слугам христовым, супротив того ополчиться надобно. Дале мне сегодня толковать придется о заботах и сварях земных – вестники вот прибыли из Мангазеи.

Вскоре служитель привел двух монахов. Видом они были дики, лохматы, в изодранных залоснившихся подрясниках, в перепачканных смолою остроконечных шапках-скуфейках, в

⁴ 7025–1517 год по нашему летосчислению.

⁵ 7057–1549 год.

стоптанных донельзя сапогах. Но, несмотря на столь худую одежду, воинский наряд монахов был в полном соответствии и исправности.

Сквозь прорехи в подрясниках поблескивали вязью колец кольчуги, на поясах висели длинные самоедские ножи в костяных ножнах, на кожаной перевязи были пристроены мешочки с порохом, кремнями и пулями к пищалям, которые выглядели игрушечными в руках монахов, наделенных, по всему видно, недюжинной силой.

Не доходя трех-четырёх шагов до того места, где стоял с посохом в руке Киприан, монахи рухнули на колени, поклонились земно, застыли так, но Киприан велел им встать, благословил, допустил к руке.

Никто, кроме Саввы Есипова и трех приписанных к архиерейскому двору особо доверенных охотников, не знал, что Тобольск связан с Мангазеей «нитью божьей». Так назывался наиболее краткий путь между городами, намеченный и проложенный по обоюдному сговору между первыми пастырями югорской земли.

Еще тобольский архимандрит Андриан и мангазейский священник Дионисий, пришедший в Югру еще в 1601 году с отрядом князя Масальского и боярина Пушкина, заключили взаимное тайное соглашение: «О следовании вестников духовных нитью божьей».

Знали о «нити божьей» и на Москве. Когда патриарх Филарет провожал Киприана в Тобольск и вручал ему архиерейский жезл, обложенный темно-зеленым бархатом, а также золоченый крест со «святыми мощами», то меж других поучений и о «нити божьей» не забыл.

– Наказываю тебе дело это одним из наиглавнейших почитать. Служа Господу, и о земном не забывай, ибо должен ты, пастырь душ людских, о всем перво-наперво знать да ведать, и тут тебе «нить божья» всегда сподручной будет...

На этот раз вести, принесенные монахами, пришлись не по душе Киприану. Это было видно по тому, как он поскущел, а потом и посуровел лицом, как бы для себя одного произнес:

– Многогрешен и суетлив человек есть в деяниях своих... Могли бы, ох, могли бы мангазейцы дела вершить великие, ко укреплению веры православной и Руси святой ведущие, а они в сварах и лаяниях мерзостных погрязли. Боголепие в мире божьем велико, но и соблазн и грех людской не менее велики...

Словам этим, произнесенным не только с недовольством, но и с болью, сопутствовали, наверное, такие же мысли, так как Киприан, кивнув Савве: «Иди мол с богом!» – тут же, вздохнув глубоко и тяжело, вновь склонил в раздумье голову.

В небольшой избе архиерейского подворья настезь распахнуто окно. Здесь, за широким столом, низко склонился над рукописью Савва. Легко и споро выводит он зеленоватые буквы, ложатся одна за одной строчки, чуть поскрипывает гусиное перо. «...Повелел мне ноне владыко Киприан спрос повести с монахов тех, што нитью божьей ко двору его архиерейскому прибрели, тяготы многие претерпев и чудесы разные наглядывшись». Пишет-расписывает Савва, и встают за строками его писаний дремучие топи-чащобы, приречные редколесья и кочковатые тундровые низины меж озер и травянистых увалов.

Из Мангазеи, хоронясь от любопытства и досужих расспросов людишек, отправились монахи ночью. От крайних домов Посада тропинка, хорошо заметная при луне, петляла меж луговых кустов, пока не привела к берегу Таза, а там, среди разнотравья, и вовсе пропала.

Старший в паре вестников, по-медвежьему могучий, но поворотливый на ходу и в движениях монах Герасим, посапывал мясистым носом и, поводя рачьими навывкате глазами, поучал товарища:

– Ты, раб божий Михайла, поспешай пока, штоб нам подале от града мангазейского убраться. Когда же мы Тазом-рекой вверх пойдем, то спешить не будем.

Сам Герасим «нитью божьей» шел в пятый раз, Михайла – в первый. Видом неуклюжий, постоянно сутуля такие же, как у Герасима, могучие плечи, он двигался так, как зверь идет

по чаще: настороженно, стремительно вскидывая время от времени кудлатую голову и зорко осматриваясь окрест.

Молодые сосны щетинистым гребенчатым ожерельем на фоне плотного тала спускались к самой воде. Здесь, пройдя еще немного, Герасим остановился и дал знак Михайле тоже подождать, стоять тихо. Среди звуков чуткой, пронизанной густым лунным светом ночи не было ничего, вызывающего тревогу, и Герасим, постояв еще некоторое время, принялся за работу.

Углубившись немного в заросли тала, он притащил оттуда одну за другой две самоедские лодки-долбленки, два холщовых мешка с припасами да два кожаных воинских, поменьше, обшитых по краям наборами медных колец. Монахи молча устроили груз в долбленках, молча отчалили, сразу же взяв к песку луговой стороны, так как там, на тиховодье, грести против течения было намного легче. Временами, едва не задевая за борта долбленок, шуршали вихрастыми ветвями кусты, окунаясь в аспидно-черную воду.

Плывущий над неторопливыми покатыми волнами лунный полумрак ронял на ходу податливо мягкие туманные ленты. Тут бы к месту задуматься, а то и задремать, да нельзя. Раз ступил на тропу «нити божьей», то, считай, службу начал ни людям каким, а Самому Господу Богу, веленьям и делам его...

«Если бы можно было волшебством каким путь монахов тех разом оглядеть, – писал Савва, – то увиделся бы он ровным, как полет стрелы, пущенной могучей искусной рукой. Постарались охотнички верные, протянули-отметили попрямей „нить божью“ где зарубкой на дереве, где пеньком затесанным, где ямой крестовой, а где и камнем-одиночком приметным.

„И еще поведали мне те монахи честные: отец Герасим да отец Михайла, што шли они до самой вершины Таза-реки и далее лесом до реки Пур. Оную переплыв на плоту, также сухопутьем добирались к верховьям Агана-реки. Здесь таились, обходили стороной селения вогуличей и инородцев прочих – добытчиков искусных мягкой рухляди: соболей, горностаев, белок и лисиц.

Дале путь монахов пошел так, что по Агану-реке выплыли они в Обь великую и по ней, недолгое время спустившись, вновь пошли лесами-глухоманью.

У верховьев реки же, Большим Салымом именуемой, опять пережидали, ибо шел бой поблизости меж вогуличами и татарами. А за что и по причине какой бились те и эти, монахам было неведомо. Только зрили они воочию после битвы той убиенных множество, не захороненных и не тронутых никем. А што дале там было, монахи не ведают, ибо отправились восвояси ко тобольскому граду, куды с божьей помощью и прибтели, благословения владыки Киприана за вести мангазейские удостоившись“.

Пишет Савва, старается, чтоб не только цветистым да забавным было писание его, а чтоб по слову владыки виделась в нем „суть деяний и помыслов человеческих“.

Где она, та грань незримая, предел тот, за которым мысли мудрые и светлые теснятся, а к нему, к Савве, не очень-то охотно спешат. Вот хотя бы и сейчас: поведал владыке Киприану про монахов хождение, а ведь еще немало из их рассказов вне писаний Саввиных осталось. Ладно ли то, надобно ли о том поведать?

Вот, к примеру, зрили монахи у вогуличей капище идольское. И будто бы на капище том жонки вогулички, молодые да пригожие, в нагом обличье к камням привязаны были. Ели-загрызали тех жонок комары и прочая гнусь летучая намертво, а вогуличи-мужики в то время пение вкруг да пляс бесовский творили...» Савва закончил писание и в охотку эдак потянулся, на минуту мечтательно зажмурился и, уже как бы очнувшись, удовлетворенно огляделся вкруг.

Кончался день, и над дальним иртышским заречьем роились-бежали предвечерние сумерки. Были они едва заметными, неуловимо легкими и стремительными, появлялись и таяли тут же, в таинственном круговороте. Мелькание их на глазах меняло-затушевывало очертания хмурившихся облаков, что лепились одно к другому, раздавались вдаль и вширь. И вот

уже скоро огромная, в полнеба, гряда их протянулась к тому месту, где за низиной и лесами у горизонта доживала свой век деревянная крепостица, поросшая мохом – Искер, или Сибирь, бывшая столица бывшего тож татарского владыки Кучума, безвестно и бесславно в степях ногайских сгинувшего.

Глава 4

На восточном берегу Мангазейского моря, там, где ржаво-зеленые тундровые низины углом выходили к воде, высился хмурый, одиноко стоящий мыс. Плоские склоны его со стороны суши причудливо испятнали багровые и желтовато-блеклые травы. Здесь же темнели замшелые по трещинам камни, змеились песчаные оползни, и все это издали было похоже на огромный, источенный молью и временем ковер, брошенный и забытый здесь много лет назад.

С другой стороны, там, где шумели серо-зеленые волны и песчаный приплесок туго опоясывал основание мыса, склоны его круто вздымались вверх. Нависая над водой ребрами бурокрасных каменистых отложений, они образовывали небольшую круглую площадку, которая и была вершиной мыса. Здесь, на исхлестанном ветрами взгорке, стоял массивный, почти в две сажени, крест из стволов могучих лиственниц, надежно укрепленный и обложенный камнями.

Установка этого креста-маяка, как и десятков подобных ему на берегах северных морей, было вначале делом новгородских мореходцев-ушкуйников, а позднее – вольных промышленников из Архангельска, Пинеги, Мезени и других северных мест.

По древнему, свято соблюдаемому обычаю, уходя в «землицы неизвестные», брали мореходцы с собой заранее вырубленные и до времени разобранные кресты. Доставить и водрузить такой крест на месте, где кончался поход и суда поворачивали в обратный путь, считалось делом добрым, людям и Богу надобным.

Среди этих крестов были кресты-маяки становые, поставленные на проторенных морских путях. Были и кресты-детинцы, указующие место, до которого ход морской всего и был...

Крест, о котором идет речь, как по размерам, так и по месту расположения относился к становым. На него держали курс караваны кочей, следовавших в Мангазею, редкие Бусы, идущие на Русь, корабли воровато забегающих сюда иноземцев, струги вольных добытчиков мягкой рухляди и разных безначальных людей.

В свое время тобольским воеводам: боярину Годунову и князю Волконскому, а также дьяку Швыреву – приказом Казанского дворца была послана грамота «О бережении земли мангазейской и сторожевых заставах-острошках на волоках, мысах и других подручных для ходу местах, чтобы проводывати про немецких людей и беречь накрепко, чтобы отнюдь в Мангазею немецкие люди с моря тем путем и сухими дорогами ходу не приискали...»

Тобольские воеводы направили список с этой грамоты в Мангазею и оттуда не раз посылали стрельцов и казаков на мыс с крестом у восточного берега для устройства «острошку», как тогда именовали укрепленный сторожевой пост – острог.

Затея эта, как и следовало ожидать, провалилась. Ватаги вольных людей догляду за собой стерпеть не могли и раз за разом выбивали стрельцов с мыса, пока на это дело в Мангазее не махнули рукой и мыс не остался в полном владении ватажников.

В дальних пределах тундры рождался день. Вначале он ничем не напоминал, да и не мог напомнить о себе, так как небо, сдавленное со всех сторон грядями грузных, бесформенных облаков, заставляло отринуть мысль о том, что где-то здесь может, даже случайно, мелькнуть луч солнца.

Но вот прошло немного времени, и в одну из редких прогалин между облаками, задернутую дымчатой пеленой, просочился едва заметный румянец. Скоро выше промелькнули розоватые наплывы света, а потом низко у горизонта заструились вереницы алых с золотом бликов, чтобы тут же исчезнуть в мрачной бездонной синеве.

Но, как видно, игра солнечных лучей, на ходу набравших яркость и силу, все равно не могла пересилить устоявшейся осенней хмари. И без того тяжкая и плотная, она еще больше стала сдвигать-наслаивать друг на друга облака: прогалины между ними исчезли, и только

один-единственный розовый солнечный луч метался некоторое время в облачных теснинах. Вот этот-то луч на секунду-другую и высветил небольшую стаю голубей, вылетевших в этот час со двора одного из посадских домов в Мангазее.

Распластавшись в полете, стремительные белоснежные комочки вспыхнули было, затрепетали в розовой дымке и тут же вновь нырнули в серый полумрак, направляя полет свой на север.

Попутный, тугой до звона ветер, то подхватывал голубей, помогал им легко брать высоту, то бросал вниз, и тогда, спускаясь к самой воде сумрачно-серого Таза, они летели над его плесами и заводями. Вскоре приблизилась и сразу заполнила собой все пространство до горизонта необъятная ширь Мангазейского моря. Теперь уже легкие, едва заметные тени стремительно летящих голубей скользили по гребням серовато-снежных волн, по светлым полосам воды, что тянулись вдоль прибрежных песков.

Наконец впереди показался уже знакомый нам мыс с крестом на вершине. Несколько минут голуби кружились над ним, то взмывая к облакам, то скользя с крыла на крыло у самой земли, как бы высматривая или выжидая кого...

В стане ватажников на мысу тут же заметили голубей, принялись свистеть, махать шапками. Через минуту-другую, откинув оленью шкуру, заменяющую дверь в землянку, появился атаман ватажников Авксентий. Поправив наброшенную на плечи шубу, подбитую рысьим мехом, он потянулся, глянул, прищурившись, на небо и тоже засвистел, но по-особому – переливчато и долго. Голуби сразу заметили его, безбоязненно стали опускаться на плечи и поднимать вверх руки. Сильными узловатыми пальцами Авксентий брал, ощупывал каждого голубя, пока под крылом одного из них не обнаружил короткий, в полпальца, футлярчик из гусяного пера.

Вскоре он осторожно вытащил оттуда клочок ленты белого шелка, на которой искусно были начертаны буквицы нерусской замысловатой вязи. Читал ее Авксентий неторопливо, по слогам, часто прерываясь, хотя грамотен был изрядно: свободно разбирал и писал по-русски, по-датски и по-свейски – умудрился этому предовольно в скитаниях по иноземным морям.

– Атаман, эй! – раскатилось басисто над ухом Авксентия, и тут же кто-то подтолкнул его плечом вроде бы шутливо, чуть-чуть, но Авксентий, сам крепкий и кряжистый, едва устоял на ногах. Удивляться было нечему. Рядом стоял его есаул, Никифор, человек непомерной силы и столь зверовидного обличья, что окрестные самоеды давно уже прозвали его именем своего черта – Нглика. Никифор знал об этом, ему это нравилось, и порой он в разговоре, особенно с незнакомыми людьми, нарочно шевелил мохнатыми широченными бровями, раздувал щеки, топорилил ниспадающие на грудь усы, ни дать ни взять – страшилище морское.

– Ты што, атаман, – продолжал Никифор, – ай вести худы, што в раздумку тебя бросило?

– Сзывай ватажников, дело есть...

Вскоре ватажники, а было их более сотни, собрались у большого костра из плавника, благо волны щедро набросали его здесь по всему берегу. Над костром на железной треноге булькал варевом объемистый котел. В стороне темнели землянки, стояли недавно разгруженные нарты, вокруг кучами лежали мешки, связки мехов, тут же паслись олени и весело прыгали, носились собаки.

Ватажники подобрались один к одному: ростом немалые, здоровые, бородатые, почти все в самоедских малицах и сапогах из оленьих шкур, что придавало их фигурам еще большую громоздкость и полноту. Только трое ватажников носили стрелецкие кафтаны, да один щеголял в темно-малиновой накидке, расшитой бисером и серебряными шнурами.

Ватажники с надеждой поглядывали на Авксентия, ждали его слов к походу или промыслу. Сиднем сидеть на месте уже какое время надоело до того, что готовы они были тут же ринуться куда угодно, лишь бы размяться да погулять сколь сердце желает.

Авксентий окающим поморским говорком повел речь:

– Велено нам матушкой, Марфой Ильинишной, – он уважительно помолчал, – промысел кой-какой за некими самоедишками учинить, а што и как, я вам подробно опосля доведу. Сейчас кашу есть, упряжки готовить и айда с богом! Веселей глядите, соколики, дури много насидели, глядишь, ветерком и повыдует, – чуть усмехнувшись, закончил он.

Если бы разговор о ком другом шел, ватажники от нечего делать не упустили бы случая поспорить, пошуметь, показать нрав, но коль скоро дело шло о наказе самой Скорбеевой, тут особо шириться не приходилось... И почитали, и боялись ее, и, бывало, ненавидели люто, но послушаться ни в чем не могли, так как с ослушниками была Скорбеева безжалостной. Все до сих пор помнили прошлогодний случай, когда по слову Скорбеевой побили стрелами целую ватагу.

Серым, до безысходности унылым осенним днем в низине, на берегу моря, сгрудилась толпа подавленно молчавших людей. Были они «безоружны, беспоясны и бесшапочны», виновато клонили долу чубатые седые, а то и лысые головы.

Поодаль, на взгорке, как войско доброе, рядами выстроились ватажники Авксентия, а сам он стоял немного впереди, в двух шагах от Скорбеевой. Все ждали ее слова, поглядывали кто исподтишка, со страхом, а кто и посмелее, понастойчивее: чего, мол, тянешь, говори! Третьи, кому ожидание это было и вовсе невмочь, поеживаясь, молитву творили про себя, но Скорбеева молчала. Лицо ее уже длительное время оставалось бесстрастным и отрешенным, словно то, что должно было произойти здесь, в низине, нисколько не занимало и не беспокоило ее.

Между тем никто бы не мог и подумать, сколько самых противоречивых мыслей скрывалось сейчас за неприступной холодностью Скорбеевой, и чего стоило ей сдерживать все те чувства, которые обременяли сейчас непомерным грузом ее сердце.

Куда, в какую сторону было качнуться ей, что сделать или, может, решиться на дело такое отчаянное, чтобы убедить людей, доказать им, что не ради нрава своего или иной какой причины решила она послать на смерть целую ватагу.

Легче всего сейчас было посохом взмахнуть да крикнуть Авксентию: «Начинайте!» А ведь надо, ой как надо ей и в пятый, и в десятый раз прикинуть: а может, все же не смерть этим ослушникам присудить, а по-иному как-то их пристращать, шток законы людей вольных и безначальных блюли строго и неотступно.

Ведь эти окаянные ослушники не всегда такими были, за ними, как известно, и доброго много для людей, для дела морского значится. Почти половину из них она знала по именам, бывало, и в дальний путь отправляла, и в бой, и на деяния тайные, и всегда они воли ее ни в чем не нарушали. А тут как все оборвалось: запили, загуляли многодневно, передрались меж собой, а потом грабить и бить стали всех без разбора: гостей торговых, охотников вольных, самоедов встречных и даже голытьбу мангазейскую, что в тундру время от времени навевывалась. Мало того, что они выбили взашей приехавших усовещевать их посыльных Скорбеевой, так еще грамоту ей в город послали. В грамоте той лаяли и хулили ее изрядно: «...И знала бы ты, Марфушка, свои бабьи заботы: куделю прясти, щи варить, да порты стирать, а в наше дело мужицкое, воинское, лик свой отвратный, гордыней непомерной обуянный, и близко бы не совала!...»

Ах, совсем не это задело ее: давно научилась она быть выше злословий и нападок людских. Не о себе пеклась Скорбеева. Знала твердо, что стоит одним гулевщикам простить, как тут же найдутся иные чинить поруху мирскому содружеству и, глядишь, прахом пойдет дело всей ее теперешней жизни. Значит, прочь жалость да обидную в ее положении бабью нерешительность, нет-нет да и напоминающую о себе. Еще некоторое время стояла она, раздумывая и колеблясь, но все же, собравшись с силами, вздохнула поглубже и, повернувшись к Авксентию, решительно махнула рукой. Тот в свою очередь крикнул: – Начинайте! И тут же из рядов ватажников вышел самый старший из них, широкий в кости, сутулый, тяжело переставляющий

ноги. Морща и без того исполосованное морщинами лицо, он остановился в десятке шагов от виновников сборища и неторопко и внятно по старинному чину повел речь:

– За поруку чести и воли мирской суд наш праведный приговорил: будете вы, супротивники, побиты стрелами. И вам на слове этом не бунтовать, не грозиться, а смерть по-честному принять, коли вы истые мирские и вольные люди.

Умирили бунташные людишки достойно и молча, поняли, видно, хоть и поздно, вины свои, кланялись низко товарищам, крестились широко, истово, становились на колени, опустив голову.

Коротко жужжала стрела, другая, падали один за одним так и не догулявшие свое бунтовщики, и гнилая тундровая трава, чавкая водой, покорно принимала их тела, оделяя последней лаской и вечным покоем.

Не дрогнуло лицо Скорбеевой, не поколебалась ее надменная задумчивость и в ту минуту, когда один из приговоренных к смерти ватажников, молодой и, как видно, нравом буйный, повернулся в ее сторону. Поклонившись низко, крикнул не то от отчаяния, не то от безысходной жалости к себе самому в последние минуты жизни: – А и спасибо тебе, матушка Марфа Ильинишна, за смерть легкую да столь веселую среди товарищей-побратимов. Буду на том свете – перескажу Богородице о доброте твоей!..

Пока ватажники собирались в дорогу, Авксентий вышел на песчаный приплесок у мыса. День был погожим, светлым и, может, оттого более темной выглядела вода, тяжело и сдержанно плескавшаяся у ног. Перешагнув гребень пузырявшейся бурой пены, Авксентий ступил сапогами в сетчатую рябь мелких волн-побегушек, суетливо раскатившихся в сторону. Далее, за ребристыми гранями песчаных наносов, в небольших, словно игрушечных, бухточках вода была спокойнее. Авксентий прошел туда, остановился и вскоре увидел, как в зеркале, свое отражение. На висках и кончиках усов змейками серебрились седые нити. Все еще озорные и сейчас, к старости, глаза лучились чуть грустноватой усмешкой. Может, жалел о чем-то Авксентий, а может, и хотел сказать самому себе, посетовать, что не так идет его жизнь, как было задумано, как виделось...

А в думках тех, как бы и с чего они ни начинались, всегда на первом месте была Марфа Скорбеева. Ведь никому бы и в голову не пришло, как безраздельно владеет «хозяйка земли мангазейской» сердцем сурового ватажного атамана. Вот уж и седина в волосах, и столько лет за плечами, а все не может одолеть Авксентий свою печаль. Может, и не зря говорят о Марфе Скорбеевой люди, что знает она заветное слово, что привораживает сердце человеческое навечно. И смешно, и грустно было порой Авксентию, что он, поживший и повидавший столько человек, неподвластный никому, кроме своей воли, так зависим от одного взгляда или слова этой женщины.

Знала ли об этом Скорбеева? Порой Авксентию думалось, что знала и томилась от того не менее Авксентия, а порой его одолевали сомнения и даже столь несвойственная ему неуверенность. Она пусть и на время, но крепко брала его в руки, кружила голову тягостными заботами, справиться с которыми он порой не находил силы. Может, Авксентий и насмелился бы когда решительно поговорить с Марфой Ильинишной, но он боялся в случае неудачи потерять хотя бы самую малость из той вечной надежды, что была у него накрепко связана с именем Скорбеевой. Но случалось так, особенно в часы тоскливого тундрового сидения, что надежда та представлялась ему такой зыбкой и хрупкой, что возьми, коснись ее не так рукой, и она тут же рассыплется, уйдет навечно.

Вновь переступил ногами Авксентий, и вода, упруго качнувшись, тут же схватила на поверхности несколько неярких бликов холодноватого солнца и бросила их на травянистое с ржавыми золотинками дно. Особенно памятной ему была последняя встреча с Марфой Скорбеевой в Мангазее, куда Авксентий явился тайно по мирским делам, хоронясь от воеводских доглядчиков.

Сначала все шло заведенным порядком. Соблюдая гостевой чин, Скорбеева повела речь о здоровье, о дороге, о новостях мангазейских. Авксентий внимательно слушал ее все время, но вдруг вздохнул протяжно и с такой тоской, что Скорбеева замолкла на полуслове и смешалась.

– Доколе же, Марфа Ильинишна, таиться вот эдак друг от друга будем? – решившись, спросил Авксентий.

– Ох, не надо, не бери душу, Авксентьюшка... – Скорбеева горестно покачала головой. – Не привычны мы с тобой супротив совести своей идти, отродясь ни у тебя, ни у меня не бывало такого, да и не будет, думаю.

– Так ведь мне-то, мне каково без тебя в тундре, по землянкам да по ямам, все одному да одному...

– Судьба, видно, выпала нам с тобой такая... Скорбеева подняла глаза на него и хоть с запинкой, но докончила: – И ты мне люб, и память Степанову не в силах отринуть я, вот оно каково получается...

«Видно, уж так издавна ведется, – подумал, возвращаясь к кострам, Авксентий, – что до поздних лет и тяготы, и горести не оставляют человека. И гнетут его, и смущают, и дышать подчас не дают, но, как ни суди, не будь того, на свет божий смотреть бы не захотелось».

Видя, что ватажники уже собрались в дорогу, Авксентий по-хозяйски оглядел нарты, затем поманил к себе Никифора, отошел с ним поодаль.

– Тебе тож, по слову Марфы Ильинишны, заботку передам: бери людишек с десятков, которые посноровистей, да правьте путь к устью Таза, напрямик по тундре. Казачишек там перехватить надобно, с грамотой на Русь посланных.

– Казачишек тех решать аль нет?

– Зачем решать, народ служивый, подневольный. Грамота их потребна, сами же пусть в обрат добираются восвояси. И еще... – Авксентий помедлил, – слух есть, будто бы бродит в местах здешних вдоль бережку кораблик некий, видом иноземный. Расстарайтесь усердно, разведайте, так оно аль нет? А буде кораблик той узрите, мигом ко мне упряжки погоняйте.

– Прощай, брат, – не сказал – прогудел Никифор. – Удачи тебе всегда в бою честном да в походе.

– И тебе удачи! – хлопнул его по плечу Авксентий.

Трое казаков: любимец пятидесятника Реброва, рыжий до огненности здоровяк Семенка Векшин, а с ним Дуда и Кирюшка, помельче ростом да помоложе, остановились на ночевку в устье Таза. Нужно было перед дальней морской дорогой сотворить по обычаю молитву от напастей, лиха и глазу злого на пути морской, а заодно и в последний раз испытать винца, так как в море пить вина не полагалось.

Вытащив струг подалее от берега, казаки развели костер, принялись варить кашу. Семенка, развалившись на бугре и положив руки под голову, в ожидании ужина мечтал вслух: – Путь дальнюю править нам не впервой, а коли Господь к нам милостив будет, и на Москву-матушку мы доберемся, то пить-гулять зачнем, как отродясь не гуливали! – Семенка развел было пошире руки, но тут же бессильно опустил их, как бы не находя слов и не умея показать безграничность предстоящего им «гулевания». Далее Семенка повел речь о Реброве, которого почитал не только как отца родного, но и всегда в пример себе ставил. Провожая нас в дорогу, так молвил Иван сын Иванович: «Доверяю вам, Семенка, дело государево, и в деле том быти вам прямыми и неотступными до конца-краюшку».

– Выходит, что грамота, нам даденная, немало стоит, – проворчал вечно сонный Дуда.

– Эге ж, – поддержал его Кирюшка, самый молодой из казаков. – Доставим сбереженной ту грамотку в Москву, и выйдет нам пожалование...

– До того еще далече – посвистишь носом вдосталь, – усмехнулся Семенка. – Давайте-ка кашу есть да ко сну собираться. Поутру в путь тронем пораньше, благословясь.

Как ни привычны были казаки к местам здешним, а уснули только далеко за полночь. Не то чтобы испугали их сумерки, но заставили примолкнуть да поежиться.

Сначала пошла темнеть вода причудливо эдак, полосами, когда искристо поблескивающая прозрачность ее резко размежевалась непроглядно угольными пеленами наползающей черноты. Но вот откуда ни возмись переливчато заструились бледно-розовые лучи. Чем дальше к горизонту, тем все быстрее и заметней пятнали они воду подрагивающим багрянцем. Он все тяжелел и темнел, пока не слился с густо-синими завесами, что, колеблясь, плыли у кромки облаков.

Вот промелькнули одна за одну зарницы и голубоватые всполохи. Сразу за клубилась тьма у горизонта, потянулась, смяла едва просвечивающие белесые окна в облаках и тут же поглотила их. Потянуло морозным ветром, сильнее заплескались волны у камней, невнятные шорохами, приглушенными вздохами встречала тундра ночь.

Зорьку казаки проспали, запозднились, а когда принялись за кашу, увидели такое, что и не до еды стало. С трех сторон – справа, слева по берегу и из глубины тундры – мчались к ним олени упряжки. По траве за ними тянулся дымный след, из-под полозьев нарт поминутно взлетали россыпи брызг.

– Кажись, стрельцов нелегкая несет, – приглядевшись, заявил Семенка Векшин и, недолго думая, метнулся к стругу, где у них лежали пищали да сабли. Дуда и Кирюшка бросились было вслед, но, пока готовили заряды да молитву творили перед боем, упряжки, уже вот они, у костра очутились.

Дуда и Кирюшка сопротивляться не стали, тут же побросали оружие. Семенка успел помахать саблей и даже ранить одного из ватажников, но Семенку тут же скрутили, надавали тумачков, бросили, связанного, на песок у самой воды.

Старший среди ватажников, есаул Никифор, неожиданно миролюбиво сказал Семенке: – Ай и дура, ай и дура – матери твоей невтерпех! Теперь мы вольны головой твоей распорядиться, это тебе как?

И всегда-то непокладистый, отчаянный Семенка на этот раз от обиды да злости совсем зашелся. Отплевываясь от песка, попавшего в рот, костерил ватажников воеводскими холуями да собаками.

– Уймись! – уже построже выкрикнул Никифор. – Кафтанье, што у некоторых наших, глаза тебе застит. Не стрельцы мы, а вольные ватажники, Богу да морюшку подвластные. Грамотку, кою вам на Русь доставить велено, выкладывайте – и на все четыре стороны с богом!..

– Как же, возьмешь! – выкрикивал, извиваясь на песке, Семенка. – Попробуй найди ее наперед, грамоту ту!..

Все перерыли да перещупали ватажники и казаков по многу раз обыскивали, но грамоты так и не нашли. Вечером обозленный неудачей Никифор, сунув конец сабли в костер, пригрозил: – По добру не хотите отдать, под пыткой скажете, где грамота.

Когда конец сабли накалился малиновым цветом, Никифор, подойдя к Семенке, рванул затрещавший по швам кафтан. – Говорить будешь?

Семенка, набычившись, отвернулся, но не успел Никифор «тронуть» его, как сидевший неподалеку на песке Кирюшка не выдержал и, пожалев, как видно, товарища, запричитал:

– В лагушке она, будь неладная, вона в том деревянном лагушке с узорами, што на корме лежит.

Никифор тут же поспешил к стругу, подхватил с кормы бочонок-лагу шок, тут же выбил из него оказавшееся двойным дно, достал грамоту, бегло просмотрел ее и, сразу потеряв интерес к казакам, только и сказал: – Утром отпустим вас – грядите восвояси...

Снова были тревожные сумерки, была ночь, полная мелькания теней, далеких голубоватых всполохов и неумолчного бормотания волн. Дуду и Кирюшку со связанными руками пере-

несли повыше в траву. Семенку же за строптивость оставили до утра на мокром песке. Заснуть тут было нельзя, да и не до сна при случае таком.

«Как же это я, как же? – корил себя Семенка. – Каким же манером я ноне на глаза Ивану Иванычу Реброву покажусь, наказа его не выполнив? Зарез, да и только!»

Вот уж и полночь подошла, и захрапели у костра назначенные в караул ватажники, когда Семенка, в какой уже раз перекатываясь с боку на бок, почувствовал, как ослабли от непрерывных подергиваний ремни на руках. Когда ему удалось освободиться от пут, первой мыслью было отыскать грамоту. Больше часа, то прикикая к траве, то бесшумно подтягивая тело, ползал Семенка среди ватажников в тщетной надежде добыть мангазейское послание. И сумки все обшарил, и в нартах все перерыл, но так ничего и не нашел. Вскоре он подобрался к Никифору, раскинувшему руки в могучем храпе. Кафтан его был распахнут, грязная атласная рубаха растегнута. На широченной волосатой груди ни ладанки, ни мешочка, лишь нательный крест из серебра. В шапке, которую Семенка успел стащить с головы Никифора, тоже было пусто. Мелькнула было мысль связать Никифора, заткнуть ему рот и, оттащив в кусты, по его же обычаю попытаться выведать, где грамота, но уж больно грузен и могуч был ватажник, так что и эту затею пришлось оставить.

Досадуя на неудачу и для того, чтобы хоть чем-нибудь отомстить Никифору, Семенка, изловчившись, снял с него широкий наборный пояс с серебряными бляхами и с большим само-едским ножом и пополз выручать товарищей. Но в эту минуту проснулся один из караульщи-ков и, покашливая и бормоча что-то, принялся раздувать костер.

Семенка, насторожившись, сжимая в руке нож, стал отползать к воде. Струг их по-преж-нему стоял в стороне от костра, за кустами низкорослой березы. Ватажники только перерыли все в струге, когда искали грамоту, а взять ничего не взяли.

Семенка, упиравшись носками сапог в травянистые кочки, подталкивал и подталкивал пле-чом подагливо тронувшийся струг до тех пор, пока тот не кивнул кормой навстречу нетороп-ливой ночной волне. Ветер, хотя и несильный, но устойчивый, дул с берега, и это во многом облегчало намерения Семенки.

Подтянувшись на руках, он аккуратно перевалился через борт и, взяв весло, принялся подталкивать струг на более глубокое место, упиравшись в крепкое каменистое дно. Хватило у него терпения подождать, пока ветер не отнес струг подальше от берега, и тогда Семенка, разо-брав скатанный парус, ловко поднял его. Парус сразу забрал ветер, зажурчала, побрызгивая, вода у носа ходко заскользившего струга. Семенка перекрестился, крепче ухватил кормо-вое весло. Одна надежда оставалась теперь у Семенки, поддерживала перед дальней и трудной дорогой.

У Реброва, как и у всякого человека, вдоволь походившего по неизвестным землям да морям, хорошо знавшего все тяготы и превратности дальних дорог, давно стало правилом особо готовить посыльщиков. Зная, что любая грамота по тем или иным причинам может про-пасть, затеряться в дороге, он всегда наказывал своим гонцам: «...Бумага – она бумага и есть. Ты буквицы, што в бумаге сей написаны, как „отче наш“ затверди, а такое потерять только вместе с головой можно».

– А и не потерял я голову, Иван свет Иванович! – задорно выкрикивал в темноту Семенка. И в надежде будь, што и впредь ее не потеряю! Все, што велел ты, исполню и в Москву-матушку донесу словеса, што в грамоте значатся.

Чем дальше уносило струг от берега, тем сильнее дыбились волны, подбрасывая его, вели свою коварную игру. Вскоре за едва проступающими в темноте белесыми гребнями волн скрылись огненные точки ватажных костров. Тьма, море да крепчавший с каждой минутой ветер приняли в свои объятия Семенку.

Давно не слышали ватажники, чтоб так ярился бранью их есаул, известный редкой невоз-мутимостью и миролюбивым нравом.

– Не то беда, што шпынь тот исхитрился – бежал, – грозно басил Никифор, вспоминая недобрым словом Семенку, – а то, што мы, люди складу воинского, таку промашку сотворили, не углядели как надобно его. Ох, не похвалит, не похвалит нас за это атаман Авксентий... Никифор еще короткое время отчитывал-ругал ватажников, не снимая и с себя вины, потом вдруг крикнул, как после доброго ковша браги, и махнул рукой.

– Един пред атаманом ответ держать буду... Трогаем, што ли, в путь-дорогу, воители достославные...

Никифор с ватажниками, а с ними Дуда и Кирюшка, в прошлом казаки Реброва, а теперь уже народ вольный, тундровый, решившие жизни ватажной испытать, обратно возвращались неторопко. Грамоту, ради которой мчались сломя голову к устью Таза, Никифор надежно упрягал за голенище сапога: день был погожим, забот особых не предстояло. К мысу, где был ватажный стан, можно было проехать напрямик, по тундре, но Никифор, памятуя о наказе Авксентия, повел упряжки вдоль берега моря.

Трава здесь, принимавшая на себя ярость волн и низовых ветров, была невысокой, стояла плотно, так что и оленям бежать было легко, и нарты скользили без труда.

Время от времени Никифор внимательно осматривал море, чуть прищуривая глаза, но тяжкая прозелень воды была пустынна, почти неподвижна, дышала морозной влагой, оседавшей хрустким игольчатым инеем на рогах, спинах оленей, на бородах и усах ватажников.

«Погодьё-то, – размышлял Никифор, – и вовсе несподручное для морского ходу, а они там в Мангазее откуда-то про кораблик некий проведали. Мы, народ тундровый, наперед бы знали об этом, а то наплел кто-то Марфе Ильинишне, а она, видать, и поверила неправде сей...» Минуту-другую Никифор беззлобно поругивал мангазейских мирских и, успокоившись было на том, облегченно вздохнул, зажмурился, а когда открыл глаза – не поверил самому себе.

Над низкой плотной у воды пеленой тумана, что тянулся да самого берега, показались верхушки мачт в полном убранстве парусов...

«Наваждение, вот она Скорбеихи рука!» – едва не воскликнул Никифор, не успев даже удивиться. Но в эту минуту уже и ватажники возбужденно закричали, перебивая друг друга:

– Гляди, гляди, есаул! – И он понял, что это не видение, а явь. Вскоре корабль обозначился яснее, едва двигаясь в безветрии, перевитый сверху донизу вязкой тяжестью закрученных белесых волокон. Временами он совсем исчезал в белесой мгле, спеленутый, а может, и совсем смятый ею. Но вот сказочным чудо-лебедом опять выплывал из рыхлых объятий, придерживая до времени силу и стремительность, зовущую его в полет по волнам, только чуть-чуть покачивался на едва различимой сонной зыби.

Гадать, прикидывать, что тут да как, в таком деле было бесполезным... Уж, наверное, люди на корабле знали места окрест, не ради же забавы иль случая какого эдакую громадину в здешнее мелководье загнали... Никифор еще долго приглядывался к кораблю, нет-нет да и присвистывал удивленно, а мысли невольно возвращались к Скорбеевой: «Выходит, и впрямь знала она о кораблике сём, как знает о многом, недоступном им, простым ватажникам, ведь недаром же нарекли ее хозяйкой земли здешней!..»

Глава 5

Последнее время Истома осмелел. Прежде, если бы вот так, среди ночи, позвали его к хозяину, он бы сразу встревожился, заметался по прирубам, нынче же ночной вызов воспринял спокойно, стоял перед Артемьевым бесстрастно, даже со скукой поглядывая вокруг. Тот заметил это, подозрительно покосился.

– Ты пошто такой, аль пьян?

– Пить да гулять мне не с чего, веселие меня не жалует...

– Так я подвеселю тебя! Смелым да удатым ты ноне глядишься, ан и дельце тебе подвернулось, где смелость перво-наперво нужна будет.

– Посылай, мне все едино, куды... – поскучнел Истома, а про себя подумал: «Хоть в преисподню, с тобой бы разом туды!»

– Раз все едино, то и пойдешь в Успенску церкву на Посаде.

– А я уже был там вчерась, молился.

– Хорошо, што ты богомолен столь, но я тебя не за тем посылаю. В церкви той, в алтаре под престолом, мирские казну свою сберегают, а поскольку задолжали они мне крепко, то ты и возмешь казну ту в счет долга ихнего...

– Бога побойся, – ужаснулся Истома, – крещеный ты аль нет, Ждан Иваныч? Ведь дело это не только скаредное, но и естеству людскому, православному противно, под рукой божьей та казна хранится...

– Под рукой божьей... – с издевкой протянул купец, – так они – воры все, разбойники мирские-то, добром деньги не хотят отдавать. Так грех ли будет, ежели я мирскую казну возьму и из нее попользуюсь?

– Так ведь отродясь православному посягнуть на такое дело немочно было.

– Православному? – скривился купец. – Это ты-то православный? Колодник монастырской, из ямы земляной взятый!

Видя, как при этих словах по лицу Истома прошла судорога, купец злорадно усмехнулся. – Вспомнил? Да мне слово едино стоит воеводе бросить, и он вмиг тебя в яму земляную определит обратно.

Некоторое время оба молчали, но вскоре купец понял по глазам Истома, что тот вряд ли будет дальше сопротивляться. Уже вкрадчиво, примирительно теперь купец сказал: – Казну возмешь, не только награжу щедрей щедрого, но и совсем на волю отпущу, крест целую на том!

Истома обреченно подумал: «А пропади оно все на свете: и мирские с их казной, и купец сей, живоглот проклятуший! Может, и верно послушать его, и на волю потом... Господи! – взмолился в душе Истома, – неужто не глянешь ты раз единый на меня, грешного, не дашь вздохнуть посвободней на земле сей?»

Артемьев еще раз внимательно посмотрел на Истома, лишь удовлетворенно хмыкнул, как и подобало ему, человеку, который никогда и ни в чем не отступал от задуманного и знал, что в деле его будет только так, как он захочет.

7112 (1604 год) значился в истории Мангазеи годом начала постройки большой деревянной крепости. Возводили эту крепость служилые люди: тобольские и березовские стрельцы, казаки, воеводская челядь, а также слуги, приказчики и многие ватаги охотников, польстившихся на обещанное воеводами «винное питье», без которого они в тундре, скитаются, и вовсе позагрустили.

В то время городом и всей мангазейской землей правили воеводы: князь Василий Михайлович Рубец-Масальский и боярский сын Савлук Пушкин, брат одного из тобольских воевод думного боярина Остафия Михайловича Пушкина.

Савлук Пушкин был человеком недюжинного ума, нравом покладистый и не столь жестокосердый, как Рубец-Масальский – наглый, корыстный без меры и даже в самом малом не терпевший ущемления власти или осуждения, от кого бы они ни исходили.

Как-то обратился к нему с челобитьем недавно поселившийся в городе богатый ярославский купец Нежила Селянов: «Так и так, сладу нет с моим приказчиком Василием, все-то ему не по нраву, дерзок, непослушен, хулит меня прелюбодеем и гулевщиком, грозит на Москву грамотку услать, дескать, разврат, пьянство и шумство в Мангазее, и ты, мол, князь-воевода, все то покрываешь...»

Лицо князя, широкоскулое и полнокровное, от слов этих еще более порозовело, и он с угрозой посулил: – Вона што... Я уж с ним поведу беседушку. Ты мне Ваську этого представь незамедлительно!

Купец Нежила Селянов не заставил себя долго ждать и в тот же вечер пригнал строптивого приказчика пред глаза воеводы. Что купец, что воевода – оба были грузными, дородными, Василий же в свои семнадцать лет был мелок, по-детски угловат. В обрамлении пышных до плеч соломенного цвета волос лицо его выглядело продолговатым, неестественно бледным, и только взгляд всегда доверчиво-наивных глаз был сейчас неуступчиво настороженным.

– Ты, што ль, на хозяина свою поклеп возводил? – голосом, не обещающим ничего хорошего, осведомился Рубец-Масальский.

– Не поклеп сие, а правда истинная, – смело отвечал Василий. – Сам я зрил, как он не раз из тундры девок самоедских привозил, а потом в обрат обесчещенных гнал... А такожды буянство его и надругательство над людишками сирыми зрил не однажды.

– Цыц, тля! – крикнул, распаяясь, Рубец. – Тебе ли о том речь вести. Деяния праведны аль нет хозяина твоего, то мне судить!

– Вот ты и рассуди, коли воеводою поставлен, – все так же смело отвечал Василий, – уйми лихоимство.

– А, да што тут! – закричал вдруг, дико поводя глазами, воевода, и, сорвав с пояса широкую со свинцовыми шариками плеть, раз и другой хлестанул сначала по плечам, а потом и по голове Василия...

Назавтра в городе только и разговоров было, что о происшествии в воеводской избе. Одни утверждали, что Василий был взят туда за воровство и за то же пытан. Другие вели разговор о полной невинности «страдальца-отрока» пред лицом злодеев, но так или иначе из воеводской избы Василия вынесли мертвым, и в тот же день он был тайно похоронен, а где и как – никому было неведомо.

Историю с убийством и поспешными похоронами приказчика Василия замять не удалось, она получила широкую огласку, но виновные сумели уйти от наказания.

Через несколько лет мангазейские стрельцы, ведущие канаву под фундамент сторожевой башни, обнаружили полуобгоревший, плотно засыпанный землей и углями сруб. Под ним в неглубокой яме, покрытой слоем тряпья и бересты, лежал труп подростка. Стали расспрашивать людей, и выяснилось, что на этом месте начинал, да так и не закончил постройку лабаза ярославский купец Нежила Селянов, сразу же после таинственной гибели Василия покинувший город.

Собравшиеся к срубам старожилы тут же узнали в подростке «невинно убиенного» приказчика Василия, и вновь оживила эта не такая уж давняя история, вновь заволновались, заговорили о ней в Мангазее.

Уж и не помнили, кто первым сказал это, а может, и не говорил, со стороны пришло, но только слух тот пополз-покатился меж людей, и уже невозможно было отличить, где правда

тут, а где вымысел досужий. Стали говорить, что отрок Василий, в постоянных лишениях и тяготах жизнь проведя, ныне осиянный благодатью Господней, нетленным лежит. Уже и свет ангельский на челе его увидели, и сияние, струившееся вокруг, и глас будто бы кто-то слышал Богородицы о мученике сем скорбевшей.

Василия торжественно погребли на новом месте, на берегу Таза, здесь же поставили большой крест с навесом и с лампадой, и вскоре слух о новоявленном мученике не только разнесся по югорским пределам, но и на Руси о нем узнали. В короткий срок Василий Мангазейский стал самым почитаемым в здешних краях святым, а икона его, написанная соловецким монахом Ионою Сизым и им же доставленная в Мангазею, с особым почетом была установлена в церкви Успения на Посаде. Побывать, помолиться у этой иконы считали своим долгом охотники, ухаживавшие на всю зиму в тундру, отбывающие на Русь отслужившие свое стрельцы и казаки, а также корабельщики, кому предстояло промышлять новых земель в краях неведомых.

Святой Василий кротко поглядывал с иконы мальчишескими, неправдоподобно голубыми глазами на моливших его. Когда же богомольцы начинали особенно рьяно отбивать поклоны, взмахивая руками и душный от ладана воздух колебал пламя свечей, икона будто оживала. Краски ее, секрет которых тщательно берегли от непосвященных соловецкие монахи-иконописцы, вспыхивали, теплились таинственными радужными огоньками.

В этот вечер среди тех, кто молился и давал обеты Василию Мангазейскому, был и Истома. Стоя на коленях перед иконой, он истово отбивал земные поклоны, потом падал, раскидывая руки, стараясь плотнее прикинуться к пахнувшему смолой полу, но умиротворение не приходило в опустошенную душу Истома.

Постепенно потемнели стрельчатые слюдяные окна у главного входа, погасли одна за одной, потрескивая, свечи, стали покидать церковь богомольцы. Вот уже десять их осталось, пять, трое, а вот и последний отправился вслед за сторожем. Тот шел, высоко подняв свечу, освещая дорогу, подслеповато вглядываясь в колеблющийся полумрак церкви.

Когда на колокольне пробили полночь, Истома вылез из-за ларя, достал кресало, кремень, трут и после нескольких неудачных попыток все же сумел зажечь фитиль заранее припасенного потайного фонаря. Прикрывая его полый кафтана, согнувшись и поминутно оглядываясь по сторонам, Истома направился к алтарю, где, по словам Артемьева, находилась мирская казна.

Настолько переболелся и выстрадал за эти часы ожидания Истома, что уже и страха почти не чувствовал. Давило его к земле тупое оцепенение, так что и перекреститься он сейчас не мог. Да и как было творить крестное знамение ему, совершающему столь богопротивное и скаредное дело? Знал Истома, что за все существование Мангазеи не было еще случая, чтобы кто-нибудь посягнул на мирскую казну, да еще хранившуюся в церкви.

Узкий, поминутно подрагивающий луч потайного фонаря медленно скользил по стенам, искусно расписанным заезжим архангелогородским монахом. Лики святых, все, как на подбор, насупленные, с ввалившимися щеками, поглядывали, казалось, неотрывно и осуждающе на Истома. Едва передвигая ноги, он открыл Царские врата, ведущие в алтарь, и, затаив дыхание, проскользнул туда, повторяя про себя не то заклинание, не то молитву – единственное, что могло хоть как-то поддержать его в эту минуту.

Луч фонаря вновь запетлял по гладко оструганным доскам пола, по цветастым, хитроумно выплетенным коврикам, подношениям богомольных мангазеек, по тяжелому в золотых и серебряных разводах покрывалу, наброшенному на престол, стоявший посредине алтаря.

Мирская казна, по словам купца, находилась как раз под престолом. Истома, понимая, что ему ни в коем случае нельзя медлить, что за церковными стенами его ждут приказчики Артемьева, ткнулся на колени и принялся ощупывать покрывало, отодвигая его в сторону. Почти сейчас же руки Истома с растопыренными пальцами наткнулись на большой тяжелый ларец. Кое-как подтянув его к себе, Истома не из любопытства, а скорее из боязни осмотрел его со всех сторон и, вздохнув, решил: «Потащу ужо, а там как бог даст...»

Если по гладкому церковному полу ларец можно было как-то передвигать, подталкивая перед собой, то в подземелье, куда вскоре через боковой лаз протиснулся Истома, и такой возможности не было. И переворачивать ларец пробовал Истома и, упираясь ногами в землю, подталкивал его, но все старания были тщетными. Наконец, Истома догадался, снял кафтан, кое-как подsunул его под ларец, полы и рукава завязал крепким узлом. Теперь углы ларца не так зарывались в землю и можно было хоть и с грехом пополам, но двигаться вперед.

То плечом, то руками, то коленкой толкал и толкал Истома ларец, принимаясь молиться, а то, не боясь уже греха, призывал на голову Артемьева все земные и небесные кары. Пот, капельками стекающий за ворот, стал настолько обильным, что пропитал рубаху на плечах и груди. Гулко и прерывисто стучало сердце, и стук этот, отдаваясь в ушах, расплывался по телу горячим ознобом.

Истоме поминутно приходилось подтаскивать и ставить впереди себя фонарь. Свет его серебристо расплывался по стенам, пропадал в трещинах, усыпанных по краям блестками инея.

Как было условлено, Истому у конца подземного хода должны были встретить приказчики Артемьева, поэтому, завидев впереди мелькнувший несколько раз огонь факела, Истома еще сильнее стал упираться руками и ногами, теперь уже с яростью подталкивая ларец.

Ход, по которому пробирался Истома, заканчивался у земляного вала, подковой охватывающего основание церкви. Истома рванулся раз, другой и вместе с ларцом и густо осыпавшейся землей скатился вниз. Тут же к нему подскочили приказчики, молча подхватили ларец, потащили чуть ли не бегом, успевая подталкивать впереди себя Истому.

– Пойдите, передохнем, люди вы аль нет... – пытался уговорить их Истома, но в эту минуту впереди замелькали неясные в темноте фигуры, раздался переливчатый разбойный свист, и какие-то люди скопом навалились на приказчиков и Истому.

Происшествие это окончательно сбilo его с толку. Судя по тому, что его не очень долго вели с завязанными глазами по бревенчатой дороге, он определил, что находится где-то в середине города. Далее ему пришлось шагать по ступенькам крыльца и длинному узкому коридору, где поминутно стучался, задевая плечами за стены.

Вскоре послышался сдержанный говор людей. Сдернули повязку с глаз Истома, и, сощурившись от яркого света сальниц, он увидел, что стоит в начале большой просторной горницы рядом с крепкой, обитой железом дверью.

В Мангазее шепотом передавали друг другу рассказы о «мирском суде», о том, что он не чета воеводскому, и хотя справедлив, но и грозен без меры, ежели карает «супротивников делу мирскому». То, что он предстал перед этим судом, Истома не сомневался. Люди здесь не сидели, а стояли вдоль стен, и только двое – Марфа Скорбеева и Савватий Буза – расположились на лавке в переднем углу. Здесь же на покрытом алым атласом столе лежала большая книга в переплете из телячьей кожи с ремнями и медными застежками. Рядом заметно выделялась наборная плетель-семихвостка и, что больше всего ужаснуло Истому, остро отточенный большой топор.

– Честью и правдою людей вольных суд вершим, – торжественно начала Скорбеева. При звуках ее голоса Истома похолодел и с жалостливой тоской подумал: «Ну, эта уж засудит – так засудит...»

Втянув голову в плечи, он бережно огляделся и увидел, что чуть поодаль от него стоят, затравленно озираясь, приказчики Артемьева, которые так неудачно встретили Истому в конце лаза.

– Вот этих, – кивнула на них Скорбеева, – в куль да в воду! Они не впервой на пригляде у нас, грехов за ними столь, што злыдней сих давно порешить следовало.

При этих словах приказчики, словно сговорившись, разом рухнули на колени, но мирские, и впереди всех Корнилка Корнильев, бросились к ним, потащили вон, награждая на ходу тумачами.

– Ну, а с тебя особо спрос вести будем, – повернулась Скорбеева к Истому. – Поведай нам, пошто в церкву полез, пошто казну покрасть удумал?

Так и так выходила Истому незадача. И там смерть, и тут мешок на голову, как артемьевским приказчиком. Чего уж тут таить-скрывать – один конец... Торопясь, словно опасаясь, что ему не дадут выполнить задуманное, нисколько не выгораживая себя и не защищая, Истома рассказал, почему и как очутился в церкви.

– Головой пошто вертишь, яко заяц в борозде? – сердито покосилась Скорбеева на Истому, выслушав его рассказ. – Вона куды глянь, – указала она на стол. – Книгу зришь? Сие Судебник, Свод законов, составленный на Руси в царствование Ивана Третьего мужем достойным – дьяком Владимиром Елизарьевичем Гусевым. Цари с боярами да приспешниками своими книгу сию как могли исказили, для выгоды своей приспособили, мы же книге сей почет и толкование истинное воздаем.

– Мне што в том? – не поднимая головы, заметил Истома. – Помирать едино што по Судебнику, што без оного.

Услышав эти слова, Скорбеева еще больше нахмурилась.

– Грамотей монастырской, а речешь несуразное. Мы не бояре да воеводы, штоб людям головы без спросу-расспросу рубить. Твоей вины малая здесь половина, главный грех на хозяине твоём.

Скорбеева поднялась с лавки, поклонилась направо и налево молча стоявшим людям, спросила с подобающей моменту торжественностью:

– Вашей ли волею суд сей творим?

– Нашей, нашей! – вразброд, но довольные проявленным к ним почтением отвечали мирские судьи.

– А раз так, то и решайте, как с тем Жданишкой быть, што присудить ему... – Она протянула руку, указывая на стол.

На некоторое время в горнице воцарилась тишина. Истома знал, что хозяину его не будет пощады, и, хотя сам страстно желал этого, со страхом подумал, что конец Артемьева будет и его концом. «Заодно порешат, чего тут...»

Опасения его усилились, когда мирские судьи стали подходить к столу. Первым степенно и торжественно проделал этот путь молодцеватый корабельщик. У стола он задержался чуть, взял топор, высоко поднял его над головой. Точно так же поступили и остальные судьи. Ни один из них не поколебался, берясь за топор, хотя они подтверждали этим, что приговаривают к смерти всем ненавистного купца.

«Вот она, кончинушка, теперь уж как есть», – холодея, подумал Истома.

Вновь поднялась с лавки Марфа Скорбеева и, указывая на Истому, спросила:

– А этому што приговорите? – И тогда тем же порядком пошли к столу судьи, но теперь не топор поднимал каждый из них, а плеть. Когда все вернулись на свои места, Скорбеева низко поклонилась судьям:

– Спасибо вам, люди мирские, за согласие да за суд праведный.

– Тебе спасибо, матушка Марфа Ильинишна! – почти все враз ответили ей мирские судьи с низким поклоном.

Наутро четверо мирских вывели Истому за город.

С окраины Посада распадками, редколесьем вышли к берегу Таза. Река текла здесь широко и привольно, убегая волнистым разнотравьем луговых низин к кряжистым лесистым увалам.

Истома сам с тоскливой покорностью снял истрепанный, пыльный кафтан, бросил его на песок, лег, затих. Только первые посыпавшиеся на него удары жгучей болью отделились в судорожно изогнутом теле. Потом привычное, много раз выручавшее его в таких случаях тупое равнодушие овладело Истомой, и он только протяжно и негромко стонал, не поймешь, от боли или от обиды.

Спасло Истому то, что били его мирские вполсилы, с милосердием, иначе не выдержать бы ему сто ударов, приговоренных решением мирского суда. И потом поступили с Истомой полюдски: заставили хлебнуть вина гораздо из оловянной бутылки, а старший из мирских, явно жалея Истому, сказал: – Умней-нет станешь, не ведаю, а жив будешь. Во град сей, мангазейский, носа совать тебе не велено отныне и вовеки. Сотворишь сие – головы лишишься, тако суд мирской повелел. Пробирайся хошь на Русь, хошь к людям ватажным...

Мирские тут же вытащили из кустов небольшой, вдосталь побитый волнами, но еще крепкий струг, усадили в него стонущего от боли Истому. Бросили туда же мешок с припасами, лук и колчан со стрелами, медное ведро для воды и варева, а заодно трут, кресало и огниво для разведения костра.

Постояв немного и даже помахав вслед Истоме, мирские ушли. Вскоре струг vyplыл на середину, и течение в полную силу понесло его. И тут Истома заплакал, если можно было так назвать короткие судорожные всхлипывания, когда продолговатое исхудавшее лицо его еще больше покрывалось болезненной желтизной. Не было, наверное, на свете слов, которыми он смог бы сейчас выразить меру охватившего его отчаяния от постоянных неудач и всей своей неприкаянной жизни. Со стоном повернувшись на другой бок, Истома, как мог поудобней устроился в струге и опустил голову на самый борт. В переливах речных струй, в том, как принимали и гасили они в глубине своей отблески неяркого солнца, было что-то умиротворяющее. Истома долго-долго смотрел туда, пока не задремал под чуть слышные всплески и журчание воды.

Главной заботой на пути для Истомы было сейчас устье Таза. Здесь нередко промышляли вольные рыбаки и охотники, держали временные стойбища самоеды и прочий тундровый люд, встреча с которым не сулила ничего хорошего. Но тут, как говорится, Истоме повезло. Через трое суток он благополучно миновал устье, так и не встретив никого в пути, и, поставив парус, направил струг к чуть виднеющейся на горизонте кромке левого берега. Конечно, можно было не торопиться и выйти туда без риска, придерживаясь недалеких отмелей. Но уж очень хотелось Истоме уйти как можно дальше от мангазейских земель, окончательно оборвать все, что хоть как-то, но связывало его с этим городом или напоминало о нем.

Темно-серая с тяжелой прозеленью волна чуть качнула струг, играючи бросила в Истому несколько холодноватых брызг-горошин так, как бы одобряя его решение.

– Не балуй, чего ты! – зябко поежился Истома и вдруг, хитровато подмигнув волне, повел с ней речь, как с живой: – Ты уж шибко-то не серчай, смилуйся, матушка, наперед тебя прошу, поутишь, поубавь сколь можно нрав свой; ладно ли будет, коли ты на меня одного, корабельщика честного, ярость хлябей своих обратишь...

Так уж хотелось Истоме, чтобы не только одна, а все волны вняли просьбе его, но этому не суждено было сбыться.

К полудню ровный, устойчивый ветер сменил направление, зашел с полуночной стороны, посвежел. Сразу похолодало, в воздухе закружились редкие колючие снежинки, вода еще больше потемнела, запенилась мохнатыми гребнями. Струг стало сносить влево, и Истома был вынужден сбросить парус, взяться за весла.

Вскоре в задиристом пении ветра послышались протяжные стонущие звуки. Громче и громче раскатывались они над водой, и вот уже, подчинив все вокруг своей власти, загрохотали, заскрежетали, рассыпаясь окрест с посвистом и злобным волчьим завыванием.

«Ишь ты какво, будто сам он старается, – с опаской подумал Истома, так как прямо называть черта в море не полагалось. – Вона как жернова мельницы своей, не к ночи будь помянут, накручивает...» А вода меж тем вокруг все темнела и темнела, а вскоре и небо насупилось, притушив и без того тусклые краски осеннего дня, на глазах окутываясь зловещей сумрачно-багровой мглой. Не прошло и минуты, как мгла эта вместе с растрепанными ветром облаками поползла в разные стороны, разрастаясь и разбрасывая вокруг непомерно длинные тени. На какой-то момент вода вспыхнула зеркальными полосами, но сейчас же мрак смял их, стал еще гуще, непроглядней, безуспешно пытаясь придавить своей тяжестью разгулявшееся в мрачном веселии море.

Теперь уж Истома думал об одном: держать струг носом на волну. Никак не терпело своенравное Мангазейское море, чтобы кто-то, пусть и самую малость, сопротивлялся ему. Вымещая свое недовольство, оно намерилось, видно, вдоволь позабавиться над попавшим в беду корабельщиком. Струг его то подбрасывало, то крутило из стороны в сторону, то он летел в провал между двух волн, сцепившихся пенными гривами в яростном поединке.

Ледяная вода то и дело окатывала Истому с ног до головы, безжалостно хлестала тугими струями, отчего тело сводило судорогами и едва можно было дышать. Понимая, что так он долго не продержится, Истома покрепче привязал себя к рыбацкой сети, которой, по стародавнему обычаю казаков-мореходцев, был стянут на корме полузатопленного струга немудреный дорожный запас.

Похожий на чудище пенный гребень, падая, безжалостно отшвырнул струг. Истома едва успел отдышаться, как его вновь накрыла с головой, бросила в пучину еще более свирепая и тяжкая волна.

Глава 6

Мангазея жила тревогами. Таились они в предрассветных сумерках душных летних ночей, в звенящем пении ненасытных комариных полчищ, в тяжком дыхании тундры.

Змеей, готовой окольцевать свою жертву, подбирались те тревоги к городу, кружились возле стен, копили до времени силу, чтобы в удобный час ворваться на улицы. Любо-дорого было им там вместе с разгульными ветрами смутить, взбудоражить людей, опалить буйством, бросить их в бесшабашное гулевание, а то и в бой и в свары, что и без того часто вспыхивали в Мангазее.

Гольтыба и прочий малый люд, которых издавна звали здесь мирскими людьми, постоянно бунтовали, куражились и угрожали всем городским набольшим правителям. Время от времени те ополчались на мирских, но и били, и принуждали их с оглядкой. Приходилось считаться с тем, что рядом в тундре кочевали враждебные самоедские племена, бродили ватаги вольных охотников, беглых монахов, холопов и прочего люда, неподвластного ни царю, ни воеводам. Все это были, за малым исключением, доброхоты мирских вольнолюбцев, готовые по первому зову явиться в Мангазею.

Не очень-то надежной была и главная опора воеводы: казаки и стрельцы – люди подневольные, заброшенные сюда, на край света, службишку править. Ходили они всегда хмурые, недовольные, с сотниками и прочей старшиной часто говаривали сквозь зубы. Таких шибко задевать не приходилось, разве что в самом крайнем случае, а то, чего доброго, и сами в тундру уйдут, и товарищей сманят, было такое не раз.

С начала основания города правили им, как и всей югорской землей, на равных правах два воеводы. Двоевластие это сопровождалось событиями, в которых, чередуясь друг с другом, шли тяжбы, интриги, споры и драки, доходившие порой до кровопролития. Случалось, что воеводы, никак не хотевшие уступить друг другу главенства, вели необъявленные, но безжалостные войны. Из-за того воцарялось в Мангазее великое шатание и неустройство. Промысловщики и другие дорожные люди, коим для отъезда на Русь и во вновь открытые земли нужны были подорожные грамоты, томились подолгу безделием, спали до одурения и от лютой тоски пили горькую. В кабаках тогда день и ночь не затворялись двери, не стихал пляс и шум несусветный. Но больше всего от этих неустройств страдали купцы, сидевшие на своих подворьях под охраной до зубов вооруженной челяди. Жили они, как в осаде, кляли и воевод, и злую долю свою, когда не торговать приходилось, а терпеть великие убытки, накрепко сторожить лавки с товарами и от мирских, и от слуг воеводских, никогда не упускавших случая поозоровать да пошкодничать.

О причинах разлада, разбоя и шумства великого, время от времени воцаряющихся в Мангазее, каждый из воевод сообщал в Москву по-своему, и там никак не могли понять-разобраться, кто прав, кто виноват во всех мангазейских неустройствах.

Во времена, о которых идет речь, в Мангазее правил один воевода, князь Федор Уваров, так как второй воевода, боярин Плетнев, недавно умер. Но и это не внесло заметного успокоения, не утихомирило ни свар, ни шумств разных ни в землях близлежащих, ни в самом городе.

Скупой, безжизненно серый рассвет едва только начинал пробиваться сквозь сумрачную хмарь северного неба, когда князь Уваров появился на подворье.

Несмотря на преклонные годы, на ногу он был скор. Легко перепрыгнув замерзшую за ночь лужицу, встал бодро перед крыльцом. Сторожевые стрельцы, слуги с шапками в руках и дворовая челядь ждали князя молча, покорно, стараясь держаться по возможности подальше. Спесивость и властность воеводы-князя – это было еще полбеды. Гораздо страшней был непостоянный, мгновенно меняющийся нрав его. В любую минуту князь мог, не раздумывая, полоснуть человека плетью, а то крикнуть палачам: «Возьмите этого!..» – и уж тут считай, что про-

пал человек, так как воеводские слуги, стараясь выслужиться, били вместе с палачом и правого и виноватого одинаково немилосердно.

За годы существования Мангазеи не было здесь милостивого или хотя бы немного покладистого к людям воеводы, но князь Уваров, пожалуй, перещеголял всех изуверской хитростью, безжалостностью и безмерным лихоимством. Не зря же с первых месяцев его воеводства разнеслись по городу слова князя, сказанные им одному из подьячих: «...Для голытьбы, людишек звания подлого и прочих, которы головы пред властью государевой и нашей воеводской клонить не желают, кнут мала ласка... Со свету их сживать не колеблясь надобно, на стенания, слезы и мольбы их отнюдь не взирая!»

В это утро дворовые и служилые люди сразу подметили, что князь чем-то озабочен и ему не до опросов и разборов. Обычно дотошливый и въедливый, нынче он лишь хлестнул плетью подвернувшегося под руку дворового мальчишку и заторопился, зашагал напрямик через двор.

Миновав несколько лестниц и переходов, он остановился на пороге большой горницы, которую в этот ранний час уже убирала Ерминия. Посмотрев на нее, князь только причмокнул тонкими бледными губами.

Завидная молодая сноровка так и чувствовалась в ее тугом, сильном теле. Сейчас всего-навсего она пол мела, а как стан изогнет, как плечом поведет да вздохнет эдак глубоко, так у князя мурашки по спине разбегаются.

Усевшись на лавку, князь еще некоторое время бесцеремонно рассматривал Ерминию зеленоватыми глазами, зоркость и остроту которых можно было бы назвать молодой, если бы их не скрадывала тяжесть припухлых век.

– Слыш-ко, Ерминьюшка, поди-ка сюды, – не сказал, пропел князь Уваров.

Ерминия опасливо приблизилась и, хотя не знала за собой вины, понурилась.

– Кто мне добром служит, я тому добром трижды воздаю, – продолжал князь. – Тиха да послушна будешь – перво место в дому твое. Да не опасайся ты... Он протянул руку к плечу Ерминии, сощурился, но в этот момент в соседних покоях зашумели, завозились, оттуда донеслась отчаянная ругань, и на пороге горницы появился Ивашка Амосов. Двое слуг пытались удержать его, тянули за полы кафтана, били, не жалея кулаков, по спине, но Ивашка тут взмахнул руками, и слуги вмиг очутились на полу у его ног.

Князь Уваров нахмурился, кашлянул сердито, но смолчал, ожидая, чтобы Ивашка, давно известный ему буян-корабельщик, сам объяснил, чем вызвано его столь неожиданное вторжение. Ивашка с объяснением не замедлил, шагнул навстречу князю, бесстрашно глядя ему в глаза.

– Ерка нареченная моя, пошто забрал, аль тебе без неё прислужников мало?

– Вона как... – опешил от столь дерзостных слов князь Уваров, – ты што ж, учить меня будешь?

– А и поучу! – тряхнул головой Ивашка. – Тебе, старому, такая девка – один грех, отдай!

– Я тебе отдам, я тебе отдам, – прохрипел князь. Лицо его исказилось. Судорожно хватаясь за грудь, не в силах вот так, сразу, справиться с охватившим его удушьем, он все же сумел кое-как крикнуть слугам: – В пытошный подвал его, мигом!

Слуги, теперь уже вчетвером, набросились на Ивашку, вцепились, повисли на нем, и весь этот клубок извивающихся тел с хрипом, сопением и ожесточенной руганью выкатился из воеводской светлицы.

– Куда ж тебя, куда?! – Этот крик Ерминии вырвался из самых потаенных глубин души ее, взметнулся, подхлестнутый отчаянием и страстным желанием хотя бы еще на минуту увидеть Ивашку, перекинуться заветным словцом, которое сейчас не скажешь, не скажешь... Она бросилась было вслед за Ивашкой, но князь успел схватить ее, ловко и сильно притянул, прижал к груди, и Ерминия забилась в его руках.

– Ужо тебе, ужо тебе, голубка! – с мстительной ухмылкой выкрикивал Уваров, не выпуская Ерминию, жарко дыша, тыча бородой в туго изогнутую шею. Он на секунду лишь ослабил руки, чтобы перехватить их повыше, но Ерминия с неожиданной для нее силой дернулась и снизу дважды ударила его кулаком в грудь.

– Сгинь, постылый, сгинь! – захлебываясь от рыданий, великой обиды и ненависти к этому человеку, воскликнула она и, уже плохо понимая, что делает, впиалась зубами в подвернувшееся ей ухо князя.

Истошный крик его слился с протяжным в голос стоном Ерминии, когда она от удара кулаком, подогнув колени, рухнула на пол. Все больше распаяясь, Уваров долго бил ее и оставившись лишь тогда, когда зашло в горячем ознобе сердце...

Все еще переполненный злобой, чуть отдышавшись, он ткнул в последний раз сапогом безжизненно раскинувшееся тело Ерминии и лишь тогда крикнул слугу. Тот мигом влетел в горницу, склонился угодливо, стараясь не смотреть на распухшее, в лиловых кровоподтеках лицо девушки.

– Эту отмыть, переодеть, сторожить крепко, я с нее спрошу еще, – отдуваясь, прохрипел князь и направился к поставцу, густо уставленному глиняными и оловянными бутылками с вином. Но, как видно, это утро и дальше не сулило ему спокойствия. Не успел он сесть за стол в гостинном прирубке, где разбирали с дьяками дела, бумаги и принимали посетителей, как появился слуга, зачастил скороговоркой: – Пятидесятник казачий Ребров, што кочи привел, с делом неотложным к тебе, князь.

– Зови, – недовольно поморщился Уваров.

Казачий пятидесятник – невелика птица; однако этот Ивашка Ребров, как сумел узнать князь, был лично известен царю, обласкан им, награжден и казной и грамотой на право писаться с «вичем», честь в то время немалая, когда людей известных и богатых и то по отчету не именовали, а звали независимо от возраста Сидорками, Ивашками, Федьками и все в таком духе.

– Ишь ты, «вичка» ему дали! – негодовал Уваров. – А за что ему, худородному, честь такая? Иваном Иванычем его величать теперь надобно. А ведь заслуга-то его и всего ничего, с гулькин нос, можно сказать, речушку полуночную – Яну под руку государеву привел. Ноне вот опять тащится новых земель промышлять, штоб ему там пусто-напусто было!..

Ребров вошел, поклонился уважительно, с достоинством, не ожидая приглашения, сел на лавку. Спокойные черты мужественного лица с окладистой бородой и усами подчеркивал испытующий, но в то же время открытый взгляд коричневатых глаз под кустистыми бровями. В жестях и манере разговора Реброва была заметна уверенная властность. Это сразу покорило Уварова, но он сдержался, лишь высокомерно вскинул голову.

– Грамоту, даденную тебе из приказа казанского дворца, я зрил, што велено там о шпынях и выглядчиках дела морского исполню. Тебе же тут обретаться не след, с богом в путь дальнюю.

– С тем не замешкаю, – неуступчиво произнес Ребров, – делишки кое-какие видятся, во граде вашем пока держат.

Желание унижить, накричать, приказать слугам выбить в дверь казачишку-охальника с такой силой охватило князя, что он даже зажмурился, но тут же одна мысль охладила его: «Донесет на меня, ежели што, холоп сей, оговорит, ославит – расхлебывай потом...» Чтобы успокоиться, Уваров повздыхал горестно: «Вот, мол, времена пошли», и сквозь зубы протянул: – Тебе видятся, а у меня они вот где делишки-то. – И тут же не удержался, зло похлопал себя по шее.

– Што службу государеву ты правишь, то всем ведомо, и в том я тебе вдругорядь кланяюсь, – отвечал Ребров. – Одначе дозволь заботу свою досказать. Князь Юрий Владимырь Сулешов, – при этих словах Ребров встал, – велел тебе окромя грамоты еще кое-што поведать. Недалече от Нова-города с обозом мягкой рухляди был изловлен некий торговый гость из Ман-

газеи, Евпатий Дударев, тайно в страну дацкую пробиравшийся. На допросе же под пыткой он показал, что вся та рухлядь твоя, тобой же от казны утаенная, и што ты тому Евпатышке грамоту подорожную на Русь и далее самолично давал.

– Ох, неправда, ох, лжа змеиная, ведь наплел же, наплел на меня тот злыдень! – притворно возмущаясь, зачастил Уваров.

– А вот на другой пытке, – как зазубренное, отчеканил Ребров, – сказалося, што Евпатышка вовсе не русского звания человек, а дацкий выглядчик королевской службы именем Христофор Корду.

– Ахти нам! – теперь уже вовсе по-бабьи, будто бы в изумлении великом, воскликнул Уваров. – Обвел, обвел меня шпынь тот проклятуций, а ведь сколь ласков, угодлив и в делах надобен был!

Понимая, что князь лжет и старается хоть как-нибудь выкрутиться из столь неприятного для него положения, Ребров усмехнулся про себя и, помедлив для приличия, продолжал:

– Выходит, што иноземцы аль иные людишки, им сподручные да ими купленные, рухляди немало к рукам прибирают помимо казны государевой. И еще хочу молвить тебе, воевода-князь, я, как тебе ведомо, ни судья, ни подьячий, а воинского обычья человек. Я казаков своих со списком всех дел подобных воровских, как мне велено было, на Москву услал, а тебе как по всем этим делам ответ держать – сам смотри.

– Пошто сотворил эдак?! – впервые за весь разговор испуганно воскликнул Уваров. – Миром все надобно творить, миром, а ты наветы да охулку врагов моих сразу же вона куды, в саму Москву, услал, разве то дело?

– Коли то наветы, то тебе и опасаться не след, – спокойно проговорил Ребров. – Пойду ужо, челом тебе, воевода-князь! – Он, как и в начале разговора, уважительно поклонился, зашагал к двери, покачиваясь так, словно под его ногами был не пол княжеской горницы, а палуба коча.

«Закачаться бы тебе до смерти! – с ненавистью глядя ему вслед, подумал Уваров. И еще он подумал о том, что ежели донос сего злокозненного казачишки дойдет до Москвы, то ему, князю, не сдобровать. – ...Знаю я тех лизоблюдов, завистников да хватателей добра чужого, што вокруг царского трона пластаются. Рады будут унижению моему, затолкают, затопчут, скоренько в яму спровадят, да так, что и откупиться не успеешь...»

– Господи, не допусти, Господи, не допусти! – восклицал Уваров. Он упал на колени в переднем углу, почти распластавшись в поклоне перед иконами.

Если бы его невнятное бормотание можно было переложить на понятный всем язык, то сразу же стало бы ясным, что князь не вымаливает благоденствия у Бога, а ведет с ним беседу так, как бы вел ее с особо доверенным и приближенным человеком. «Ведомо же тебе, Господи, што за мной доброта не пропадет, отведи только напасти казачишки сего, а я уж пудовой свечи не пожалею, часовенку велю срубить, штоб там служба шла ежедень во славу и хвалу твою».

Отбив еще несколько поклонов, князь едва удержался, чтобы вот так, запросто, не кивнуть строго посматривающему с иконы Иисусу Христу, не сказать так же простецки: «Вот, Господи, как мы порядком да ладненько живем с тобой, какой мир да согласие промеж нас идет».

В то время, когда князь Уваров вел столь доверительную беседу с Богом, нисколько не сомневаясь, что и это доступно ему, на другом конце города к воротам на подворье купца Ждана Артемьева подошла Епифания.

Привратник Корней, распахнув калитку и увидев всем известную в городе молодицу, разулыбался.

– Вона кто к нам заботится, Епифаньюшка сама... – Он подивился столь праздничному и заметному наряду ее в будничный день, но, не любопытствуя, кратко спросил: – Пошто пожаловала?

– Матушке Марфе Ильинишне поклониться хочу, – отвечала Епифания, – пусти бога для, дельце у меня наиважнейшее.

– Привораживать поди кого? – хитро прищурился Корней.

– Какое там, не до привораживаний сей день.

– Ну, коли так, ступай с богом, вона за красным крыльцом дверца малая. Там и лесенка в прируб, где узришь Марфу твою, баальницу-ведунью...

Скорбеева в эту минуту сидела за столом у раскрытого плоского ларца, разделенного тонкими костяными перегородками на десятки отделений. В каждом из них почти до краев был насыпан бисер столь заманчивых для глаз расцветок, что в иное время Епифания не только бы ахнула, но и расспрашивать бы принялась, откуда, мол, благодать сия, но сейчас ей было не до расспросов.

Войдя, Епифания сдержанно, но с уважением поклонилась: – Здрава будь, матушка Марфа Ильинишна, до твоей милости с заботишкой пришла.

На лице Скорбеевой при всей ее выдержке промелькнуло недовольство. Разного люда у нее бывало немало, но такой посетительницы она никак не ждала.

Хозяйка посадской «Сговорной избы» Епифания была заметной фигурой в Мангазее. В «Сговорной избе», своеобразном гостином дворе для малых людей, всегда толпился народ. Здесь проводили время не только в гулеваниях и спорах, но и вели торг со стрелецкой и казацкой старшиной и с мангазейскими купцами, чьи достатки были поменьше, чем у именитых гостей.

Верные люди не раз доводили Скорбеевой о том, что удачами своими и завидному везению в делах Епифания обязана была покровительству воеводы. Будто бы жаловал он ее не только за пригожесть и повадку, но и за пользу немалую, от этой избы идущую, где по пьяному делу можно было услышать многое полезное воеводскому уху.

За все это Скорбеева недолюбливала Епифанию или, во всяком случае, относилась к ней настороженно. Если случалось им где встречаться, то, блюдя вежество, они церемонно раскланивались или, перекинувшись словом каким, тут же не задерживаясь, направлялись каждая своей дорогой.

Медленно погружая пальцы в бисер, Скорбеева еще раз провела рукой над ларцом и холодно спросила, чуть повернув голову к Епифании: – Какова забота твоя?

Как ни была готова Епифания к этому вопросу, а все ж, услышав его, не только вздохнула, но в густой синеве ее всегда задиристо неуступчивых глаз промелькнула растерянность.

– Наши беды бабы, вдовы – кому до них печаль есть, вот и жаждет душа словца приветного от мил дружка... – Епифания сцепила пальцы и тут же зябко подула в них, будто ее одолевал озноб. – Вот бабам другим здесь талан выходит, а мне в этом разе – одно гореваньице. Тот, кто сердце мне присушил да околдовал навечно, о ком я день и ночь сохну, и не глянет как надобно на меня.

– Вот как!.. – искренне подивилась Скорбеева. – А ведь тебя по всей Мангазее самой удатной да везучей считают.

Как ни бесстрастно произнесла она эти слова, Епифания все ж уловила мелькнувшую в них неприязнь.

– Я у тебя ни в каком деле поперек дороги не стояла, посему и пришла с поклоном, помоги, прошу...

– Имя назови, – прямо сказала Скорбеева.

– Да есть один проклятуций такой, Ивашка-корабельщик, вновь его на мою голову в город принесло. Вновь вот опять ни есть, ни спать не могу, порой и словца к месту молвить голоса не хватает, все о нем думки, и на сердце от того будто камень лежит... Дай, матушка, зелья какого приворотного, весь век рабой твоей буду.

Она вновь принялась говорить Скорбеевой о своих сердечных муках, но, чем больше распалась Епифания, тем бесстрастней и холодней становилось лицо Скорбеевой. И тогда Епифания, наверное, первый раз в жизни, смяв и сдавив чуть не до крика свою гордость, сникнув, упала на колени.

– Матушка, не оставь, матушка, вразуми, не дай загинуть мне в горевании моем! – повторяла она, будто в забытии, почти припадая к ногам Скорбеевой.

– Ну, остуда на тебя! – недовольно воскликнула та. – Встань, встань сей же час, я ведь прост-мал человек, штоб предо мной на коленях пластаться... И еще хочу молвить тебе. У Ивашки того нареченная есть, Ерка-сирота, так што твоим ему не бывать! Запомни сие.

– Нет! – неожиданно вспыхнув вдруг, как бы засветившись вся яростью, воскликнула Епифания, будто и не гнули ее только что к земле томления и горести, и, сбросив их, как кафтан с плеч, она тут же уже совсем в ином обличе предстала перед Скорбеевой.

– Ай, и спасибо тебе, Марфа Ильинишна, за выручку-доброту. Отродясь не прашивала, не клонилась в беде перед людьми, к тебе к первой с просьбицей сунулась, ан ты и поучила меня, каково просить-пластаться.

– Ступай восвоеси, – прервала ее Скорбеева, – недосуг мне с тобой беседу вести, да и Ивашка в яму к воеводе взят, ведомо ли тебе о том?

– То не печаль, достанем и из ямы! – высокомерно бросила Епифания и, так же посмотрев на Скорбееву, с вызовом закончила: – По плоху аль по добру, но я уж расстарюсь – уложу-таки Ивашку в постелюшку вообщо себя, ну а там пусть все хоть прахом идет!..

– Не оступись, гляди. – В голосе Скорбеевой послышалась угроза.

– Бог милостив, – уже с нескрываемой насмешкой прервала ее Епифания и, независимо вскинув голову, направилась к выходу.

«Эк, каково ее вспучивает, – подумала Скорбеева, – укорот ей надобен, а то и впрямь в отчаянность войдет, наломает дровишек и воз и другой». И еще Скорбеева подумала о том, что Ивашка по своей бесшабашности поманил, поди, и эту, наплел небыли, наобещал, и все так, мимоходом, озоруя, а сердце-то у молодежи и екнуло. Мысли эти не то что задели Скорбееву, но как-то пришлись ей не по душе, и, чтобы отвлечься, она направилась в ту половину горницы, где на полках хранились книги.

Было их здесь немало: с причудливыми переплетами, литыми застежками, украшениями из меди, а то и из серебра. Попали они к Скорбеевой разными путями и не в один год. Часть книг была ею приобретена у русских и иноземных купцов на гостинном дворе в Архангельске, на поморских торжищах в Мезени и Кокшеньге, да и тут, в Мангазее. Десяток книг вместе с другими вещами замерзшего в тундре купца привезли ей охотники, зная о том, что она намного преуспела в книжной премудрости.

Скорбеева любила в часы грусти или усталости просматривать, бережно листая книги, бывало, и обращалась к ним как к хорошим друзьям за советом, помощью, а то и для поучений.

Вот и сейчас, любовно окинув взглядом ряды книг, она с особым вниманием посмотрела на одну из них, стоявшую чуть в стороне от других. Книга была раскрыта, и на ее титульном листе четко проступала угловатая вязь букв и названия: «Сия книга, глаголемая Лечебник разумный, собранная стараниями многих мудрецов о разных целительных основах ко здравью человеческому – телесному и душевному пристоящих». Скорбеева любовно погладила кончиками пальцев шероховатые страницы, подумав: «Здесь бы надобно Епифании исцеление от ран сердечных и душевных искать, да ведь не каждому книга откроет сие...» Она брала книгу за книгой, уважительно читала давно знакомые заглавия. Вот книга «Цветник достойный», вот «Рассуждения и поучение к добру» – книга, принадлежащая когда-то стольнику Ивана Грозного, Акиму Капустину. А вот массивный том в переплете из телячьей кожи с большим рельефным крестом на обложке, искусно вышитым серебряными нитками. На первом листе напечатано цветисто и крупно: «Пересказ справедливый летописи стародавней: „Повесть временных

лет“, о хождении ушкуйника Нова-города Гюряты Роговича со товарищи за горы Рифейские⁶ в народ Югра».

Были здесь книги для подарков, сонники, молитвенники, хроники, книги собинные (собственные) разных владельцев и даже «Книга вольной жонки Феофилы Толокновой, ею самой составленная для поучения и бережения девиц благородного и подлого звания». Общение с книгами не только никогда не утомляло Скорбееву, но почти всегда наполняло душу теплом, светлой радостью и покоем. Вот и сейчас Скорбеева взяла с полки небольшую книжицу в приятном для глаз нежно-малиновом переплете: «Сказы о путях чрез моря неизвестные» и тут же с удовольствием углубилась в чтение. До того по душе было ей это занятие, что она лишь в третий раз услышала обращенные к ней слова. Рядом, низко кланяясь, стоял хозяйский слуга, щуплый, заспанный, угловатый.

– Кличет тебя хозяин, Ждан Иваныч, пожаловала к нему штоб.

– Это зачем понадобилась я?

– Неведомо мне – дело хозяйское.

– Ну, коли хозяйское... приду, пусть ждет.

Когда через несколько минут аккуратно прибранная и почти празднично одетая Скорбеева вошла в покои Артемьева, он встретил ее, вышагивая из конца в конец горницы, мягко поскрипывая сапогами из добротной выделанной тюленьей кожи. Был он в однорядке – долгополом однобортном кафтане без ворота, и в шелковой малиновой рубашке. Рыжеватые волосы пышно топорщились по плечам, большая лобастая голова была упрямо наклонена вперед.

Как ни была выдержана Скорбеева, впервые увидев Купца столь озабоченным, с любопытством посмотрела на него.

– Пошто звал?

– Да уж не знаю как и сказать... С поклоном к тебе, Марфа Ильинишна. – Купец резко остановился перед ней, и хотя слова его звучали просительно, в зеленоватых водянистых глазах виделась неприязнь. – Дельце есть тайное, – продолжал он. – Дружку твоему, Авксентию, ватага коего у Трехбугорного мыса обретается, весточку подай. Надобно, штоб он казачишек, посланных на Москву пятидесятником Ребровым, перенял и грамотку, што при них, отняв, мне бы сюды, в Мангазею, с вестником надежным доставил.

«Вона как о грамоте пекутся, што Ребров услал, так опоздали, соколики, – с мстительным удовольствием подумала она, – поди уж перехватили ватажники казачишек тех...»

Словно опасаясь, что купец разгадает ее мысли, она сказала:

– Пошто ж сам воевода ребровских посланцев перенять не велел? – догадавшись, по чьей просьбе хлопочет сейчас купец.

– Служилых – государевых людишек на дельце то посылать не след, – будто не расслышав слов Скорбеевой, продолжал Артемьев, – а Авксентьевым кромешникам не впервой такое творить. Ну, а за послугу ту им и пожалование немалое будет. Артемьев снял с пояса небольшой кожаный кошель в медных звездочках-заклепках, перевернул, потряс его небрежно, и на столе, глухо позвякивая, рассыпались большие золотые монеты.

– Аглицкие корабленники, – пояснил купец. – Вот кораблик на них чеканенный, а вот роза – цвет райской.

– Зрила не раз корабленники таки, – равнодушно глянув на стол, сказала Скорбеева и, словно нехотя вспомнив о чем-то, закончила: – Авксентий мне и без золотишка любую послугу сотворит как надобно.

– То мне ведомо, – согласился купец, но все ж золотишко сие Авксентию передай, штоб меж нас всегда приятствие и дружба были.

⁶ Рифейские – Уральские горы.

– Подружили два волка, один на одного зубами щелкать, – будто про себя, произнесла Скорбеева, но купец с таким видом, словно он не расслышал сказанного, вновь спросил: – Так каково же словцо твое будет, Марфа Ильинишна?

– Словцо – как лицо, наизнанку не вывернешь – подбелить можно, – вновь присказкой ответила Скорбеева. – Дельцо то темное, да уж ладно, подбелю его как смогу, сотворят ватажники, скажу... «Там оно видно будет, каково мне далее быть, пусть покудова полежат корабленники», – решила про себя Скорбеева.

– Ин и ладно, – облегченно вздохнул купец и, быстро ссыпав в кошель монеты, протянул его Скорбеевой.

– Ты уж потрудись, Ждан Иваныч-свет, – небрежно, даже чуть высокомерно, сказала она Артемьеву, – пусть уж людишки твои кошель ко мне в прируб принесут.

Купец сердито передернул плечами, до того не по нраву пришились ему слова Скорбеевой, но он все же пересилил себя, хоть и с трудом согласно кивнул головой.

Дела Скорбеевой, как и жизнь ее, были неподсудны мангазейским жителям, но все же многие из них дивились тому, что она жила в доме одного из главных противников мирских людей – Ждана Артемьева. На подворье в дом себе ее бы любой горожанин принял-поселил с почетом, да и сама она могла свободно купить или построить любое по нраву своему жилище в Мангазее, стоило бы захотеть. «...Значит, надобно ей на подворье том купецком обретаться», – с оглядкой рассуждали в городе, и только один Савватий знал подлинную причину того, почему Скорбеева выбрала дом ненавистного для мирских купца. «С ворогом штоб силой мериться, надо прежде того все тайные помыслы его знать, – сказала как-то Скорбеева Савватию. – Тот Жданишка через меня улестить мирских надеется, выведать, разнохатъ старается, а то, што сам он, прихвостень воеводской, у меня на большом пригляде, ему невдомек покуль...»

Будто руку кто протянул из тяжкой мглы, подтолкнул, заставил очнуться Ивашку, и хоть боль все еще терзала его тело, он открыл глаза, приподнял голову. Воеводские слуги постарались – били Ивашку скопом столь усердно, что он и не помнил, как его притащили сюда. Каким бы скупым не был свет, проникающий сверху, Ивашка все же понял, где он находится. Ему ли было не узнать эти бурые от сырости и крови стены пытошного подвала съезжей избы, где он уже однажды побывал «за непокорство и непослушание набольшим людям, а также за буйство и шумство хмельное».

Тогда одно спасло Ивашку: крайне нужен был он для дел корабельных – некому было вести заплутавшийся в отмелях Мангазейского моря большой караван кочей. Нынче же, ежели прикинуть, выходила ему погибель по всем статьям: ведь отродясь не бывало того в Мангазее, чтобы второй раз человека из подвала пытошного отпускали. Тут к месту вспомнилась Ивашке пословица: «Куды ни кинь – так всюду клин», потому что добра в его жизни было самую малость, а случаям таким, где головы можно было лишиться, он и счет потерял... Ну, вот, к примеру, прошлой осенью...

Пробирались они тогда к городу от места зимовки кочей, и в пургу отстал от товарищей Ивашка. Трое суток брел он по тундре без единой корочки хлеба, пока не свалился на хрустящий наст у снежного заструга. Стоило повернуться или рукой в сердцах ткнуть в снег от непереносимого и поэтому вдвойне обидного бессилья, как сразу же творилось неладное, колдовством чьим-то или иной какой напастью напущенное...

Чередой рассыпались окрест гулкие звоны, – звучали недолгое время и тут же застывали, пропадая в колючем морозном воздухе. Временами не то что находило, прямо-таки наседало неотступно на Ивашку неладное. То кочи он видел вмержшие в лед, то улицы мангазейские, пестрые от многолюдья и домов, резьбой изукрашенных, то зверье мохнатое лапами когтистыми грозило ему, а самого страхом прижимало к снежному насту. Лишь полная луна, в блеклой желтизне изливаясь, не забывала порой поддержать, приободрить Ивашку, бросала ему на снег горстки разноцветных ломких лучиков.

Силы оставляли Ивашку. Мороз подбирался к нему не сразу, исподволь, шекотал пальцы, вползал к локтям и коленям, сводил судорогой и без того обожженное стужей лицо.

Все вокруг было усыпано иглами большого мохнатого инея. Иглы эти топорщились на гребнях торосов, плотной бахромой окаймляли вздыбившиеся льдины по краям замерзших разводий, оседали от дыхания на груди и плечах, и даже далекие редкие звезды посвечивали сейчас мохнатыми лучиками, упирая острия их в сумрачно-стылый от мороза небосвод.

Замерзал Ивашка медленно, и вместе с последней, почти уже неошутимой теплотой, уходили от него обиды, желания да и такие мысли, которые раньше не раз бы ворохнули сердце, а сейчас казались пустыми и ненужными. Вот снова рассыпался перед глазами на этот раз не то букет, не то причудливый шар из ломких искристых скоплений инея, и одна из его игл проникла в самое сердце Ивашки, пометалась там немного и тут же растаяла колющей болью.

В последний раз попытался он еще раз осмотреться, найти зацепку, помощь какую, что ли, и тут же, как показалось ему, уже навечно смежил очи. А ведь все ж выбрался и тогда. Отлежался, а потом где ползком, где катом, где на четвереньках, припадая, двинулся вперед и еще сутки плелся, пошатываясь, по тундре и дошел все же, да не куда-нибудь, а до крайних домов мангазейского Посада. Еще и постучаться там сумел в чье-то слюдяное окошко и лишь после этого, теряя сознание, рухнул на снег. Все, кто узнал потом об этом деле, долго удивлялись: – Считай, што с того света вернулся ты, Ивашка, вот уже везение вроде от бога...

– Везение... – едва разжимая губы от боли, не то ругнулся, не то посетовал на судьбу Ивашка. – Што там вспоминать, сравнивать нынче, коль ни мольбой, ни силой стен этих не раздвинуть. Видно, судьба – и та супротив меня ноне...

Только успел так подумать Ивашка, как сверху, словно опровергая его мысли и слова, раздался оклик:

– Ивашко, эй, Ивашко! Жив-нет, хрещена душа?

Ивашка покрутил головой, с трудом, но отмахнулся даже рукой, как отмахиваются от наваждения, но сверху, теперь уже громче и отчетливее, донеслось:

– Ужо тебе, добрый молодец, аль не чуешь?

Ивашка, собрав все силы, ругнулся покрепче и позаковыристей для поддержания духа и, кое-как встав на колени, увидел в квадрате откинутого лаза Марфу Скорбееву, держащую в руке смоляной факел.

– Ты это, того, прости меня, Марфа Ильинишна, – смешался Ивашка, поняв, что Скорбеева слышала его ругань.

– Ништо, бойкость молодцу не в укор, – как ни в чем не бывало ответила она, хотя это далось ей с трудом. Уж больно страшным было лицо Ивашки, окровавленное и исполосованное вздувшимися синеватыми рубцами. – Ждан Иваныч, коему ты для дел корабельных весьма потребен, передать велел: выручит, отхлопочет тебя у воеводы, коли ты согласишься службу корабельную ему сослужить, – бойко, как ни в чем не бывало продолжала Скорбеева.

– Пусть он допрежь того Ерминию выручит, а до сего я с ним и словечка молвить не буду, – в единый дух пробормотал Ивашка, но тут же, схватившись за грудь, невольно застонал от жгучей боли.

– Погодь ты! – рассердилась Скорбеева. – Вот уж истинно: не заглянув в святцы, да бух в колокол! Пушай Жданишка тот отсель тебя достанет, а Ерминию мы в беде не оставим. Держи вот закуску малую, да о словце моем помни... – Говоря это, она отдала кому-то факел и бережно опустила на тонком ремешке увесистый узелок. Развязав его, Ивашка разглядел каравай пышного хлеба, большой кусок копченой оленины, соль в тряпице и оловянную малую бутылку. Хоть и голоден был изрядно Ивашка, но обед свой он начал именно с бутылки. Открыв пробку и почувствовав запах вина, жадно припал к горлышку разбитыми губами.

Вино было не очень крепким, но для истрадавшегося телом и душой Ивашки достаточно было нескольких глотков, чтобы тут же закружилась голова и всего его охватила приятная,

чуть щекочущая теплота. Он попытался встряхнуться, но боль вновь пригнула его к земле. Опасаясь, что его опять услышит Скорбеева, Ивашка ругнулся, теперь уже про себя, и тут же безотлагательно, как это у него не раз бывало раньше, решил: «Поступаться купчишке в таком разе и не подумаю. Вот ежели представит он мне Ерминию, да не как-нибудь, а вот эдак, рядышком, тогда можно и речь о делах потребных ему повести. Эх! Ему бы сейчас вырваться отсель на ветерок вольный – враз бы подбил людишек верных на дельце отчаянное, глядишь, и приспела бы выручка Ерминьюшке».

Ивашка быстро управился с едой, опорожнил досуха бутылку и, закрыв глаза, привалился к земляной стенке пытошного подвала.

Сторожевые стрельцы допустили Скорбееву к Ивашке в обход строжайшего наказа воеводы: «Сидеть тому татю и супротивцу Ивашке в подвале бесхлебно и безводно, покуль сам милости не запросит, а тогда уж я с ним поведу беседушку...»

Страшен был для стрельцов гнев воеводы, но уж лучше кнут от него стерпеть, чем поперек слова Скорбеевой пойти.

– Ты уж прости нас бога для, матушка Марфа Ильинишна, – низко кланяясь, говорили наперебой стрельцы, когда Скорбеева покидала съезжую избу. – Может, мы не так встречаем-привечаем тебя.

– Бог простит, служивые, – кланяясь в свою очередь, отвечала Скорбеева. – Просили меня люди словцом с тем Ивашкой перемолвиться да утихомирить его, а то зело буен он, горяч, а с такими у воеводы один разговор...

– Вестимо так, – кивали головами стрельцы, а старший из них почтительно и торопливо распахнул калитку, через которую на подворье съезжей избы проходил обычно воевода или кто-нибудь из набольших городских людей.

– Шествуй с богом, матушка! – снова в почтительном поклоне опустили головы стрельцы, не чаявшие, как им поскорее избавиться от столь опасной гостыи.

Прошло несколько часов, вот-вот должно было наступить утро, но предрассветный туман вместе с ночной изморозью все еще растекался по безлюдным в это время улицам Мангазеи. Наплывали и двоились с неуловимой легкостью продолговатые тени, смутные очертания которых можно было принять за ряды коварно подступающего войска. Миг, другой – и оно обрушится на уставших от ночного бдения стрельцов.

Бывало и не раз в Мангазее, когда вот так же в туман или в непроглядные осенние ночи подкрадывались, пробирались в город со звериной сноровкой и ловкостью ватаги немирных самоедов. Звучал призывный гортанный клич, вмиг оживало все вокруг, и толпы отчаянно воющих охотников в оленьих и звериных шкурах шли на приступ, громили дома и двory мангазейцев, сшибались в рукопашной схватке.

Как бы подтверждая эти невеселые мысли стрельцов, неподалеку, на опушке рощицы, примыкающей почти к крайним домам Посада, по-особому тревожно и пугающе прокричал филин. Крик этот, как кнутом, стеганул, принудил поежиться и перекреститься даже такого бывалого мангазейца, как старший стрелец караула у съезжей избы.

– Будь он неладен, как грешник в аду, кличет, – пробормотал он. – Эти филины да совы – птицы спокон веку дьяволу сподручные... Пойдем-ка, служивые, в караульную избу, сейчас не то што воеводу, а и черта самого, прости господи, на улицу не вытащишь, винца чуть хлебом да погреемся, што ли...

Ивашка, задремавший после вина и еды, принесенных Скорбеевой, очнулся оттого, что сверху повеяло морозным ветром, и на заплесневелой стене подвала затеплился свет.

– Ивашка, поторопись, покуль добрые мы! – донеслось сверху. Тут же мелькнул свет факела, и опустилась, почти уперлась ему в ноги легкая лестница из жердей, и он, не понимая еще, что случилось, но и не раздумывая долго, стал карабкаться вверх.

Боль от побоев все еще властвовала в его теле, разгуливая, растекаясь ручейками по рукам и ногам. Порой она так схватывала Ивашку, что он едва не срывался с перекладины лестницы, которую и так преодолевал с превеликим трудом. Вскоре он то с руганью, то со стонами все же выбрался наверх, схватился руками за открытую крышку лаза, упал на нее грудью. Тут же его подхватили под руки, накинули на плечи шубейку, и Корнилка Корнильев, скалящий зубы в бедовой ухмылке, спросил: – Раздобрел аль нет на воеводских харчах? – но видя, что Ивашка едва стоит на ногах, уже участливее склонился к нему: – Ничего, злее будешь да памятнее к тем, которые наверху сидят.

– Стража-то где, неужто порешили? – Ивашка едва ворочал губами.

– Зачем порешили, – рассмеялся Корнилка, – вона в караульной избе шумят, мы им дверь да окна плотненько досками подперли.

Ивашка с Корнилкой и сопровождающие их мирские долго петляли по городу, пока наконец не остановились у добротнo срубленных ворот «Оговорной избы».

– Это чего же я забыл здесь? – недовольно осведомился Ивашка, но Корнилка не ответил, лишь засвистел негромко, затейливо, а когда калитка в воротах распахнулась, хитровато произнес:

– Мы свое сотворили, далее нам от сих ворот – поворот.

– Пошто? – удивился Ивашка.

– Иди, иди ужо, заждались тебя, чую... – Корнилка хохотнул эдак с завистливой подковыркой, подтолкнул плечом Ивашку и был таков, сразу стигнул в предрассветных сумерках и сам, и дружки его отчаянные.

Не зная, что и подумать, Ивашка пожал плечами, пригладил пятерней волосы и шагнул в калитку. Тут же на него надвинулась столь массивная фигура, что он невольно отпрянул в сторону.

– Пошто спужался, молодец? – прозвучало насмешливо над ухом Ивашки. Он по привычке ругнулся вполголоса, с удивлением озирая непомерно широкую бабу. Ее вполне можно было принять за здорового мужика-увальня, из озорства надевшего женское платье.

– Пойдем, што ль, а то на дворе зябко ноне. – Привратница подтолкнула Ивашку рукой, и он лишний раз убедился в ее силе.

– Это к тебе? – сразу поскучнел Ивашка.

– А хуч ба и ко мне, аль не по нраву?

– Да не... баба, оно известно... – не зная, что и говорить, тянул он.

– Ой, не скажи, молодец. Такой лепый да шустрый не по мне, пойдем ужо, ина путь у тебя...

Переступив порог избы, Ивашка увидел ярко освещенную горницу, чисто выскобленные стены и пол, поблескивающий кое-где желтоватыми огоньками. Но особенно примечательным был празднично убранный стол, плотно уставленный блюдами с закуской, оловянными бутылками, расписными глиняными кувшинами с пивом и медами, хмельной запах которых густым настоем плыл по горнице.

Из-за стола навстречу Ивашке поднялась Епифания.

– Так это ты... – недоуменно протянул было он, веря и не веря своей догадке, но в горнице никого больше не было, а нрав Епифании он знал хорошо. «В должники ей попал, ну и ну», – только и подумал Ивашка, и не зная, как ему быть дальше, неуклюже поклонился Епифании.

В темно-вишневом аксамитовом летнике, опушенном по рукавам и вороту соболями и расшитым жемчугом, Епифания неуверенно приближалась к Ивашке. Может, от волнения, а может, и нарочно она на полпути сдернула с головы зеленый с серебряной ниткой платок, и две тяжелые косы упали ей на плечи. Вот она подошла вплотную и вдруг со стоном или вскриком, словно падая с обрыва, цепко обвила руками шею Ивашки.

Настолько неожиданным было это для него, что он смешался и едва устоял на ногах, кривясь от боли.

Меж тем Епифания, всхлипывая и дрожа всем телом, все плотней прижималась к нему, пряча жаром горевшее лицо на груди Ивашки.

– Не казни, любый мой, не казни! – повторяла она. – Я уж догляжу тебя, раны твои слезами омою. Словечко молви приветное, и я за тебя в полымя, в омут любой, да хоть и в преисподню кинусь!

Он хотел было, если уж не оттолкнуть ее, то хотя бы чуть отстранить, но она, опьяненная близостью Ивашки, приподняла голову, сильно потянулась вперед, нащупывая губами его губы.

– Ерка не твоя теперь – воеводская, взял он ее, знаю доподлинно, и николи не выпустит, а я здесь, рядом-рядышком...

Услышав такое, Ивашка вздохнул и аккуратно, но с силой расцепил, а затем и снял с шеи руки Епифании. – За помощь-выручку – земной поклон тебе, да доброты твоей, Епифаньюшка, а большего от меня не жди, душу-то надвое не поделишь.

При этих словах Епифания вскинулась, как от удара кнутом, и уже сама медленно отстранилась от Ивашки. Тот еще раз вздохнул, неуклюже закашлялся, а когда глянул на Епифанию, продолжавшую все так же отступать от него, невольно подивился перемене, произошедшей в ее лице. Только что удрученное и горестное, оно вдруг вспыхнуло злой и отчаянной решимостью. Топнув ногой и схватившись за ворот летника, она тут же с силой рванула его. Расшивки-жемчужинки дождем сыпанули вокруг, застучали, запрыгали по полу, а Епифания, теперь уже подбоченившись, с угрозой крикнула Ивашке:

– Запомни, сокол ясной: с Еркой тебе не бывать, за дело то головы не пожалею! – И, видя, что Ивашка усмехается: «Меня пугать будешь», еще громче крикнула: – Не бывать! На том крест целую...

– Ну, будя! – прервал ее Ивашка. Глаза его, только что беспокойные и растерянные, заблестели неуступчиво.

– За выручку тебе вдругорядь поклон низкой, и што в должниках я у тебя отныне, то ж не забуду, однако и край знай! – Не глядя больше на Епифанию, он направился к сеним, но та бросилась вслед, ухватила Ивашку за рукав.

– Постой, погоди! Да разве можно так вот? – просяще воскликнула Епифания, но Ивашка легко отстранил ее.

– Пойду я, сыщется мне в Мангазее местечко голову преклонить.

– Куды ты в ночь, да и псы воеводские уже всполошились, поди ищут тебя по дворам и проулкам.

– Извернись, не первый снег на голову.

– Нет, и трижды нет! Не затем я все глазыньки проплакала, тебя ожидаючи, штобы злодеям отдать. А ты, ты... ежели бы знал-ведал бы, как ты душеньку иссушил мне до края-краюшка.

– Я все ж пойду, – поскучнел лицом Ивашка.

– Пойдешь вона в ту дверь, и только! Хозяйка я в своем дому аль не хозяйка? Она вновь задышала горячо и прерывисто, и взгляд ее такой же неуступчивый, как у Ивашки, как в схватке, скрестился с его взглядом.

– Ну, а за дверью той што? – уже соглашаясь, спросил он.

– Закуток там тайной в прирубе. Перебудешь день-другой, обыгаешься малость от воеводской ласки, и тогда отправляйся с богом, держать тебя не буду, не бойся.

– Ну, коли так... – Ивашка направился вслед за Епифанией, которая нет-нет да и оглядывалась со злом на него.

Устроившись в прирубке на широкой лавке, устланной мягкими полавочниками, Ивашка стал перебирать в памяти все, что так или иначе было связано с его знакомством с Епифанией. Именно в эту минуту ему пришла в голову мысль, которая раньше показалась бы смешной: «Значит, это не блажь у Епифании, а что-то большее, настоящее, до конца не понятное ему». А он-то раньше и внимания не обращал на все эти встречи, когда, бывало, здесь, в Мангазее, Епифания постоянно попадалась ему на глаза: и у реки, и в лавках, и на улицах, и даже у входа в кабаки. Встречи эти были мимолетны и случайны по виду, но они всегда оставляли беспокойство в душе Ивашки, уж слишком зазывными и откровенно жадными были глаза Епифании, весь вид которой говорил о том, что она ждала только его слов и всегда готова была идти куда угодно.

«Што же стало с тобой, божья овечка?» – размышлял, невесело усмехаясь, Ивашка, вспомнив, что так он называл ее при первой встрече во время прошлогоднего похода сюда, в Мангазею. Стоило подумать об этом, и уже через минуту-другую Ивашке то ли вздремнулось, то ли погрезилось, что не здесь он, не в душном прирубке, а у кормила на коче, и что ветер полнит тугой силой паруса, и открываются один за одним безбрежные просторы моря, переполненные до краев льдистой синеватой хмарью. Слева тянутся заснеженные в темных проталинах берега Белого острова – чудной окраинной земли, вправо встречают государевы кочи волны Мангазейского моря, шипящие пеной с россыпями брызг.

Помнилось, тогда уступил Ивашка место у кормила помощнику, а сам присел отдохнуть, прислонился к борту. Рядом у плотно увязанных бочек примостились странники: два изможденных монаха, несколько старух-богомолок, решившихся ради прославления и укрепления веры на столь длинный и опасный путь, и ладная пригожая молодлица, которая невольно привлекала внимание даже в своей грубой одежде из домотканого холста, повязанная черным платком по самые брови. Ивашка отродясь не был любопытным, а тут раз-другой глянув на молодлицу, и то не удержался, спросил:

– Куды направилась, ищешь, чего, Русь покинув?

– Ишу... – негромко и почему-то виновато ответила молодлица. – Вот со старицами в ряд решила Богу послужить – по обету в Мангазею-град добираюсь, подвига духовного аль жизни праведной жажду.

– Где она, праведная жизнь та? – вздохнул Ивашка. – Неразумное речешь с голоса чужого.

– Господь в правде еще никому не отказывал, не откажет и мне, – несмело возразила молодлица. – Поучали меня, што смирением аль подвигом духовным можно всего на свете добиться.

Ивашка с жалостью посмотрел на нее, спросил только:

– Имя-то как твое?

– Епифанией нарекли.

– Ну-ну, взывай к Богу, смиренница, авось и впрямь он даст тебе благо и жизнь праведную. – На последних словах Ивашка чуть не рассмеялся, но, посмотрев на молодлицу, пожалел ее и сдержался. Удивляло его и то, как самозабвенно молилась эта Епифания: встанет на колени у борта, руки сложит у груди, голову подняв, и эдак по часу и более не двинется, не шелохнется, камень-каменем, лишь изредка губы едва заметно шевелятся, нашептывая молитву.

Хотя припасов на коче было вдоволь, Епифания, не в пример другим странникам, почти ничего не ела. К концу пути она постами да молитвами до того себя довела, что не ходила, считай, а тенью бесплотной двигалась едва, хотя покорная, грустной радости улыбка почти не покидала ее губ.

«А теперь-то, теперь-то што с нее стало, – все еще дивился Ивашка. – Не то што один, а все три черта в ей бунтуют ноне, вот тебе и молитвенница кротости неопикуемой...»

Наутро слухи о ночном происшествии у съезжей избы, будоража и смущая жителей, быстро разнеслись по городу. Где шепотком, где с удивлением и недоверием, а где и крестясь, –

дело-то темное, передавали люди друг другу подробности: «...Налетели будто из тундры ватажники, стрельцов, охрану Ивашкину и его самого подхватили, умчали невесть куда».

Посадская баба Евстафия, известная злоязыкая спорщица, клялась малыми людскими клятвами и теми, что от лукавого, будто сама видала, как Ивашку из ямы пытошной утанули черти, да не простые, а водяные, с которыми тот окаянный Ивашка, в морях поднаторев, хлеб-соль запросто водит.

Эти и многие другие вовсе уж несуразные слухи передал Скорбеевой в разговоре Ждан Артемьев, а потом, как бы между прочим, заметил:

– А я, грешным делом, на тебя подумал, ты уж не обессудь, Марфа Ильинишна, уж больно ловко и споро дело то спроворили.

Скорбеева, для которой ночная история с похищением Ивашки была удивительна не менее, чем для других, сердито покосилась на купца. – Шустрых да сноровистых ноне в городе – пруд пруди, и, почитай, все они доброты Ивашкины, – нашлись же людишки...

– Ну-ну... – неопределенно протянул купец. Понимая, что Скорбеева никогда не будет говорить с ним откровенно, но все же стараясь придать своим словам хотя бы видимость доверительного высказывания мыслей, он простовато произнес:

– Я ведь это к тому, што Ивашка, как тебе известно, зело надобен мне для дел корабельных, а теперь где его взять?

– Поспрошаю кой-кого – отыщется, – уверенно заявила Скорбеева.

Артемьев усмехнулся.

– Сотворили подарочек воеводе, ноне он лют, аки зверь рыкающий. Стрельцы да послухи его по городу рыщут, Ивашкин след вынюхивают. У меня самого сей день посыльщик воеводской побывал, выспрашивал, не ведаю ли, мол, чего про Ивашку...

Артемьев вдруг прервал на полуслове речь, удивленно вскинул голову, глядя на дверь. Скорбеева тоже повернулась туда и увидела на пороге Ивашку.

– Ах, проклятуший! – едва не вскрикнула она, не зная, радоваться надо было его появлению или отчитать как следует.

Ивашка был навеселе и, хотя припухлое лицо его все еще носило следы воеводских «спросов-расспросов», держался бодро, даже вызывающе. Кто-то, видно, позаботился о нем. На плечах Ивашки был наброшен дорогой, подбитый мехом кафтан, из-под которого выглядывала алая шелковая рубаха, щегольские сапоги красной кожи дополняли его наряд.

Скорбеевой Ивашка поклонился низко, но явно шутовски, купцу же едва кивнул, щуря и закатывая глаза от озорства.

– А ведомо ли тебе, сокол ясной да разодетой столь празднично, – не отвечая на поклон, опросила Скорбеева, – што людишки воеводские розыск-облаву тебе ведут и при этом с ног сбились?

– Ништо им, псам, пушай побегают, а я покуль гулять буду!

– Гулять? – Скорбеева так посмотрела на Ивашку, что тот на какое-то мгновение смешался. Артемьев же, не в пример Скорбеевой, встретил Ивашку как ни в чем не бывало. Не говоря ни слова, налил первым делом стопку меду: пей, мол, раз пришел.

Ивашка пить не стал, дерзко глядя в глаза купцу, повел речь:

– Слышал я, нуждишку ты имеешь во мне для дел корабельных, так того отродясь не будет, покуль Ерминию не выручишь от воеводы.

– Выручим, выручим твою Ерку, – терпеливо и приветливо, что с ним бывало редко, пообещал Артемьев. – Слово мое ведомо тебе.

– Да уж как не ведомо, коли Ерка по слову твоему к воеводе и попала.

Артемьев изумленно вскинул брови, повел глазами: давно отвык, чтобы с ним разговаривали так, но все же сдержался, сказал лишь молчаливо наблюдающей эту сцену Скорбеевой:

– Вот он каков, корабельщик твой хваленый, как девка красна перед венцом: брык, скок, не хочу, не пойду, головы, видать, не жалко.

– Такие головы не жалеют, – вскользь заметила Скорбеева, – им бы только нрав свой показать.

Ивашке надоели эти разговоры, да к тому же он чувствовал, как поднимается, растет в груди и без того ершистое непокорство. Ну, а раз так, то и все нипочем ему: пусть купец, пусть воевода, да хоть бы и сам посланец небесный – никто ему не указчик! Ивашка ногу вперед выставил, подбоченился, ни дать ни взять добрый молодец-королевич, да и только.

– Вдругорядь реку, Ерку подавай мне, а опосля и про все остальное речи вести будем.

– А на дыбу к воеводе хошь? – сузив глаза, спросил купец.

– Ты меня не стращай, я сам себе хозяин, творю, што мне надобно, што на ум придет!

– Молчи уж! – не выдержала Скорбеева. – Сказано: умом украшайся – не дуростью, – затем уже спокойно пообещала Артемьеву: – Я с ним с глазу на глаз потолкую, штоб вежество, какое отродясь меж людей дела морского ведется, соблюдал.

Поклонившись купцу, она прошла мимо Ивашки, даже не взглянув на него, а немного погодя, когда он покорно и виновато шагал вслед, неожиданно для себя подумала: «Ивашка – истый морской человек, своенравием, буйством, а главное, вольностью безмерной от моря того живущий. А ведь среди таких ни покорных, ни тихих отродясь не бывало, уж это-то она знала доподлинно. Выходило, что Ивашку не отчитывать, а хвалить нужно было за то, что он перед людьми наибольшими не гнется, шапку в подхалимстве не ломает. Ну, а если что и не так сотворит порой, то и простить можно...»

Ивашка, не зная о мыслях Скорбеевой, шагал вслед с поникшей головой. В ожидании укоризненных слов от нее, которые были ему хуже всего на свете, и, чувствуя, что он переборщил в разговоре с купцом и в ненужном шутовстве своем, ругательски ругал себя, казнил поздним, но оттого еще более горьким раскаянием.

Глава 7

За делами и заботами Скорбеева и не вспоминала о недавнем состязании со знаменитым обдорским шаманом и уж, конечно, была бы удивлена, узнав, что слух об этом разнесся по всей тундре, вызвал много самых различных толков и широко прославил ее имя. Не только ближние охотники, русские и самоеды, но и люди с дальних зимовий и становищ приезжали к ней за советом, за помощью, а то и просто так: посмотреть на Скорбееву, послушать ее, самому убедиться, говорят люди, тайной, пугающе непонятной силе.

Как-то рано утром, собравшись в церковь, Скорбеева вышла на крыльцо и увидела на дворе собачьи упряжки и несколько самоедов.

Привратник Корней, выполняя наказ Артемьева пропускать людей к Скорбеевой «хоть в день, хоть за полночь», кланяясь, сказал:

– До твоей милости, матушка Марфа Ильинишна, людишки тундровы с ночи ждут. – Затем усмехнувшись и понизив голос, добавил: —Ну, то исть не людишки, а бабы ихние.

Скорбеева, приглядевшись к неожиданным гостям, поняла, что Корней прав: это действительно были женщины из тундры, старые и молодые, проделавшие, судя по их одеждам и истомленным лицам, немалый и трудный путь.

Увидев Скорбееву, вперед выступила одна из них, средних лет, ловкая и пружинистая в движениях, в поношенной, но ладно пригнанной одежде, как подгоняют и приспособливают ее всегда опытные охотники в тундре.

Поблескивая угольками глаз на миловидном по-своему, бронзово-загорелом лице, она повела речь по-русски, смешно путая слова:

– Мы к тебе – поклон, ты нам – помогай, мы тебе – дари, вот, вот и вот... По ее знаку остальные женщины быстро распаковали меховые мешки на нартах и принялись сбрасывать к ногам Скорбеевой шкурки голубых и белых песцов, соболей, горностаев и черных лисиц.

– Што вы, зачем такое? Опомнитесь!.. – замахала руками Скорбеева, но женщины, не слушая ее, продолжали свое дело, пока не выгрузили все, что привезли с собой.

Черноглазая самоедка, указывая на груду мехов, теперь уже печально вздыхая, произнесла:

– Наш женщина со всей тундры собирал тебе, горе у нас поселилось, помоги...

Вечером непривычно взволнованная и порывистая Скорбеева рассказывала Савватию о том, что было дальше:

– Я уж отказывалась, отказывалась, а они свое, да и на колени давай падать, кричат «помоги», да и все!

– А в чем помощь-то нужна?

– Об идоле главном самоедском, бабе золотой, слышал ли?

– Доводилось, слышал.

– Так вот: идола того служители, охранное его племя – ызык, в тундре лютуют безмерно, дань с людишек сырых мехами да оленями лучшими выколачивают похуже воеводы нашего, а несогласных с тем, в миг единый смерти предают, стонет тундра...

– И што ж ты?

– Они меня теперь едва што не в главные шаманы произвели, плачут, молят, оборони, мол, от напасти такой.

– Воевать с самоедами? Ох, не хотелось бы, пусть и злодеи они, – откровенно сказал Савватий.

– Война войне рознь, – укоризненно посмотрела на него Скорбеева. – Вот и некрещеный они люд, а все равно сырый, кнутами да поборами забитый, кто за них в заступу пойдет наших ватажников окромья, не воевода же, да они к нему вон и не пошли.

– Ватажникам одним на всю тундру идти?

– Не на всю тундру, а на ызык этих, а их число малое, да и не многолюдьем они сильны, а жесточью держатся. Нам не столь бить их надобно, как пугнуть покрепче, штаб они за Обдорск, в пределы свои лесные убрались.

– Подумать тут надобно, – соглашаясь, вздохнул Савватий, – ох, поломать головушку.

– Не без этого, – все так же хмуро закончила разговор Скорбеева.

Среди княжеского окружения, людей разного звания и должностей, подьячий Филька ничем особым не выделялся. Был в меру сообразителен, промашки в делах за ним не числилось, любил погулять да пображничать, но никто при всем при том не подозревал, что был Филька особо доверенным лицом князя, чуть ли не правой его рукой. Последнее время Филька все что-то высматривал, выспрашивал, десятки людей видели его в домах купцов, в кабаках и возле церквей, где всегда толпился народ.

Время клонилось к полудню, когда Филька забрел еще в один из кабаков на Посаде. Сидел-попивал брагу в задымленной и малолюдной в это время питейной горнице, когда в дверь ввалился, сразу видать, с дальней дороги, парень, за ним другой такого же вида, оба чернявые, заветренные до невозможности. Выспрашивать, что почем в кабаке, да торговаться не стали, бросили на стол золотую монету: «Кормите и поите, мол, нас вдоволь», – то-то и хозяин кабака и две служанки его забежали, закутились вокруг столь щедрых гостей.

«Золотой бросать кто же вот так запросто будет, сразу видать – лихие», – решил Филька и по примеру соседей – двух упившихся и крепко спавших за столом кабацких ярыжек – тоже прислонился грудью, лег головой на стол, будто бы и его сморило обильное питье.

Вначале разговор этих парней был обычным: то да се, мангазейские расхожие новости, – Филька уж и впрямь подремывать стал, но потом его словно кто под бок толкнул, и он тут же наострил уши.

– Нынче в ночь дельце спворим, и вся недолга, – вполголоса произнес один из парней, под бульканье наливаемого в кубки вина.

– Где? – спросил с придыхом другой.

– На реке пониже города, у горбатого мыса. Наше дело – товарец принять да увезти на место указанное, ну и мзду за сие получить, само собой.

– Погуляем ужо...

– Не без этого, ежели все ладом будет и на стрельцов аль иных псов воеводских не нарвемся.

Под вечер Филька добрался к тому месту за городом, о котором говорили в кабаке лихие. Здесь, у горбатого лесистого мыса, где река круто поворачивала влево, было многолюдно. Молчком, ловко и споро люди творили здесь так называемый «перевал», то есть товары с одного оленьего обоза, прибывшего, несомненно, из Мангазеи, переваливали на другой, дабы здесь след городских нарт и оборвался, а пришлый обоз, кто знал откуда он, какой, куда направляется, тундра большая, поди найди...

Нюхом, всей своей натурой пробивного мангазейского подьячего чувствовал Филька, едва что не осознал великие барыши, что, конечно, стояли за всем этим делом. Стояли, обещая кому-то столько приятностей и благ, что у Фильки от зависти защемило сердце. В эту минуту он ощутил удар, как от упавшего сверху тяжелого мешка. Сноп радужных искр метнулся перед глазами, сердце ухнуло, как в пропасть, и Филька впал в беспамятство. Набежавшие со всех сторон люди светили фонарями ему в лицо, обыскивали, рвали на нем одежду, переворачивали и даже пинали ногами, но он был глух, нем и безжизненно неподвижен.

Только через несколько минут, когда Фильку в который раз перекатывали с боку на бок, он, пребольно ударившись о плоский камень, пришел в себя и чуть-чуть приоткрыл глаза. Люди из воровского обоза, как видно, махнули рукой на Фильку, хотя речь в эту минуту у них шла как раз о нем:

– Плюнь ты и еще раз плюнь на этого выглядчика воеводского, – переговаривались меж собой невидимые Фильке собеседники. – Он свое получил, сгинет здесь, в тундре, аки пес смердящий!

– Такие живучи...

– Да ну, столь времени его теребим, а он и не шелохнулся даже.

– Тогда туды ему и дорога, одной воеводской собакой мене станет.

– Аминь! – гнусаво, вразнобой, как иные дьячки, пропели стоящие над Филькой люди и, услышав вскоре их чавкающие в луговой мокроте шаги, он как мог вжался в землю и не то что затих, а окаменел будто.

Ничего так не ценил князь Уваров, как банное приятствие. В бане он всегда находил покой для души, отдохновение телу и мыслям и даже то, чего с ним уж никак не могло быть в обычное время, добрел, оттаивал, что ли, ненадолго от глубоко въевшейся в него злости. Надо сказать, что и знатоком он себя считал первейшим по банной части, сам подбирал молодых проворных баб-мочальниц, умевших ловко управляться с разного изготовления мочалками и вехотками. Парильщиц, знавших кроме обращения с вениками, когда, чем и как поддавать пар: пивом, квасами хлебным да липовым, винным настоем с брусникою и прочими для данного случая снадобьями.

В этот вечер князь Уваров парился особенно долго: и раз, и другой, и третий, так, что загонял, считай, баб-парильщиц. И только после их заботливых слов: «Князь-батюшко, охолонь, дай душе отдохновение» решил прерваться, повременить.

Распаренный и довольный, под игривыми взглядами прислуживающей ему дебелой молодицы, он благодушествовал, посмеивался, потягивая холодный пенный квас из берестяного туеса, когда услышал за спиной короткий сдавленный вскрик. Поперхнувшись, Уваров недовольно вскинул голову. Сразу побледневшая, вздрагивающая рыхлым лицом и плечами молодлица тянула руку, указывая на дверь, на пороге которой стоял всклокоченный, в рваной одежде, со вспухшим в синяках и кровоподтеках лицом Филька.

– Ай да господь всемилостивый! – вновь завела в страхе молодлица, но Уваров так прыцкнул на нее, что она в страхе, дрожа и причитая, вылетела из предбанника.

Появление Фильки не очень-то удивило князя. Он только поморщился, допил квас из туеса и лишь тогда попенял своему подъячему:

– В каку пору ты, елова голова, объявился, да еще в обличье таком, нет на тебя уему!

– Виноват, князь, но словцо принес тебе такое, с коим медлить никак не мочно.

Князь налил Фильке ковш браги и, подождав, пока он выпьет, коротко велел: – А ну, поведай...

Филька подробно рассказал, что видел, что произошло с ним и в конце осторожно, раздумчиво добавил:

– Чую, што рука тех злодеев во граде мангазейском пребывает, несысканная, крепенькая, до коей нам покуль не добратся.

– На кого думаешь?

– Да тут и прикинуть трудно. Вроде бы все вороватые да ловкие от больших до малых на виду, а вот поди ж ты...

– Посланец-то московской, казачишка кичливый, на иноземцев кивал, – неопределенно произнес Уваров.

– Вроде бы их нет в Мангазее ноне.

– Явных нет, а о тайных нам неведомо, сам молвил.

– Дай срок, князь-батюшко, выведаю все равно, крест на том целую! – неожиданно взъерепенившись, воскликнул Филька. – Заодним разведу и про обоз нонешний, да не может быть, штобы хоть какой-нибудь ниточки, следочка самого малого в городе от этого дельца не осталось.

– Тогда с богом! – махнул рукой князь Фильке. – Завтра в приказной избе пораньше будь, одарю за труды да потери твои.

Филька, низко поклонившись, заспешил к двери предбанника.

Расслабленно навалившись на стол, Епифания сидела перед зеркалом в горнице «Сговорной избы». Зеркало это из старинного серебра было отшлифовано так искусно, что казалось бездонным, застывшим на время омутом, в глубине которого едва заметно вырисовывались не то узоры волнистые, не то загадочные знаки. «Ах, не то, не то мне будто видится, взял бы вот лучше да пригрелся мне Ивашка...» – неожиданно подумала Епифания. Она сжала зубы, напряглась вся и впиалась глазами в серебристую обманчивую призрачность. Вот что-то потемнело в глубине ее, раз и другой вначале мелькнул, а потом наплывом уже более четко обозначился чей-то силуэт. Епифания так вцепилась в край стола, что у нее вмиг занемели пальцы, волнение сдавило грудь, и губы уже приготовились произнести заветное: «Ивашенька...» – как она, было зажмурившись на миг, вновь открыла глаза и оторопела... В зеркале со всей ясностью виделся человек, но это был не Ивашка. Епифания вскрикнула, повернулась и очутилась лицом к лицу с Филькой.

– Ты? – только и смогла оторопело произнести она и тут же, вспыхнув злом, уже в голос закричала: – Я звала тебя, звала? Како вор в ночи, подобрался, сгинуть бы тебе отныне и веки!

На округлом лице Фильки с быстрыми, пронзительно-зоркими глазами только на миг промелькнула растерянность, но он тут же усмехнулся, отступил на три шага и по-прежнему с улыбкой церемонно поклонился Епифании.

– Повинную голову не секут, Епифаньюшка-свет, и на том за невежество мое прощеньица просим. Я ведь не случаем здесь, а с дельцем важным к тебе.

– У вас, у подьячих, все дела важные, а на поверку – обман, обвод на подвох.

– Говорю важное... клубочек один распутать надобно, ты за одну ниточку, я за другую – глядишь, и тайное обнаружится.

– Мне с того какова корысть? – уже немного успокоившись и стараясь не показывать заинтересованности, спросила Епифания.

– Само-собой, касатка, – уже заговорщицки ухмыльнулся Филька. – Сказано: «воздастся вам». Отвалю за послугу твою щедро, ты меня знаешь.

– Знаю, да не совсем. Ох, Филька, Филька, и пошто ты вечно в дела тайные суешься, аль ты любопытен столь?

– Именно, именно, свет мой, Епифаньюшка, только одного любопытства ради и творю тако...

Понимая, что Филька хитрит, Епифания лишь насмешливо покивала головой, совсем будто без интереса спросила:

– Так в чем дельце-то твое состоит?

– А выведать надобно, кто днями обоз олений с рухлядишкой мягкой из Мангазеи отправил, кто в деле том перва рука был?

– Вона куды ты меня нацелил, ну нет, голубочек, тут в деле таком враз головы лишишься, такое не по мне...

Филька вытащил из-за пазухи длинную нитку жемчуга, сверкнувшую розоватым отливом, ловко набросил на шею Епифании.

– Покупаешь? – уже сдаваясь, но все еще колюче бросила она.

– Дарю, золотко, дарю, в знак приятствия и удачи будущей.

– Подарок-то дорогонько стоит.

– Э-э, нам ли считаться с тобой, носи, красуйся!..

Глава 8

Кончалась заутреня в городской Троицкой церкви. Было душно от многолюдья, чада свечей и чуть приторного запаха ладана, голубовато-прозрачные волны которого плыли над головами богомольцев.

Князь Уваров, глянуть со стороны, так обо всем на свете забыл человек, от всего отрешился молитвенного усердия ради, отвешивал неустанно поклоны, когда услышал за спиной неясный, наплывами, шум. Шел он издали так, как бы ветром его приносило в широко распахнутые двери главного входа, и уж здесь, поблизости, рассыпался он говорком-шепотом, нарушая торжественное боголепие церковной службы.

Уваров поморщился, осуждающе покачал головой: «Ну и ну, ох и народ, мол, в таком месте шуметь удумали...» – потом все же повернулся, глянул постороже на толпу. В эту минуту, бесцеремонно расталкивая богомольцев, к князю пробрался подьячий Филька. Отвесив поклон, он потянулся вперед, уважительно зашептал:

– Батюшко-князь, с тобольского града людишки прибыли, а с ними особа духовного звания.

– Што за особа?

Филька помялся, развел руками, но так ничего и не ответил князю. Тот, недовольно пихнув его и миновав раздавшуюся толпу, вышел на высокое церковное крыльцо. «Вот пошто Филька не сказал мне ничего, и пошто я ноне черную пряжу зрил во сне», – едва не вслух воскликнул Уваров, узнав в «духовной особе» известного всей мангазейской земле попа Варсонофия Шитого, ревнителя веры и воителя за нее беспощадного.

Не только самоеды в тундре, где Варсонофий насаждал веру «неотступно и безбоязно», но и сами мангазейцы побаивались его. Уж больно крут и своенравен был сей поп во всех делах, что именем Бога вершил: и отчитать мог как угодно и кого угодно, и от церкви отлучить, да и случалось – кулаком учивал тех, кто поперек пути Варсонофия становился в разных, и особенно в церковных делах.

«Принесло пастыря душ наших! – едва что не плюнув с досады, продолжал про себя Уваров. – Не могло праведника сего уже в Тобольском граде пристукнуть, аль в тундре бы самаядь стрелой где нашла, так нет, сюды приперся».

Князь Уваров давно не любил Варсонофия за излишнюю не по сану громогласность, за несговорчивый нрав, за своеволие и неуважение к нему, воеводе, что не раз в разговорах, да в делах разных высказывал этот полубезумный, по мнению князя, и страшный в своем упрямстве поп.

Плохо было и то, что «притишить», поприжать хоть как-нибудь Варсонофия было делом мало возможным да и опасным по-своему. Нельзя было забывать, что Варсонофий был ставленником тобольского архиепископа Киприана, и приходилось всегда считаться с этим, высказывать, хотя бы внешне, миролюбие и почтение к сему «пастырю».

Сейчас Варсонофий стоял на коленях посреди церковного двора, молился истово и поклоны отбивал неотрывно. Вокруг, почтительно и умильно глядя на него, толпились прибывшие с ним казаки, монахи, богомольцы и, конечно, любопытные горожане, число которых росло на глазах. Всем им было лестно поглядеть и послушать столь известного в югорской земле человека.

Немного погодя и служба в церкви прервалась, народ оттуда валом повалил, там и сям слышалось в толпе:

– Вот он, воин христов!

– За нас, грешных, Бога молит!

– Батюшко, отец Варсонофий, глянь хучь оком единым, благослови.

- Пропустите поближе, православные...
- Ты-то куда лезешь, молодка, ему не лепота твоя, молитовка нужна.
- Уймись, охальники, божьего человека зрите.

А народ все прибывал и прибывал, и нельзя уже было и близко пробраться к тому месту, где все так же неистово и неустанно отбивал поклоны Варсонофий. Наконец он в последний раз высоко вознес руки, пластом упал на грязную, чуть оттаявшую землю и несколько минут лежал так неподвижно. Потом, несмотря на обширное, могучее здоровой полнотой тело, легко поднялся и, благословив толпу, направился к воеводе.

Одет был Варсонофий в подбитую мехом старую рясу, теплую же камилавку, охотничьи по ноге сапоги. Конец большой пышной бороды был заткнут за пояс.

Уваров вздохнул, ругнулся про себя покрепче («Отмолю, господи, грех сей») и, притворно улыбаясь, заспешил навстречу, подошел под благословение.

Второй день подряд бродил Ждан Артемьев по светлицам и подклетьям своего дома или взьерошенный и сумрачный подолгу просиживал у печи. Зябко кутаясь в шубу, он глядел и глядел на беспокойные язычки пламени, что, пританцовывая, прыгали над поленьями, будто перемигивались между собой. Даже в те минуты, когда, закручиваясь в искристом хороводе, они ярко высвечивали все вокруг, лицо Артемьева не меняло настороженной задумчивости, и лишь глаза его щурились недовольно.

Только один вопрос занимал сейчас купца, владел всем его существом: «Истома, где Истома?» Трижды посылал он в город самых проверенных и верных ему людей, и трижды приносили они ему один и тот же ответ: никто не слышал и не знает ничего об Истома. Единственным человеком, с кем в эту пору изредка перекидывался словом Артемьев, был привратник Корней. Артемьев нет-нет да и подходил к нему, спрашивал как бы невзначай, одно и то же:

– Ну, не слышно Истома?

Корней в ответ только виновато разводил руками: «И рад бы, мол, я того Истома тебе представить, да где ж его возьмешь...» И тогда Артемьев вновь уходил, усаживался на лавку у печи, опять подолгу глядел на огонь отрешенными, безучастными ко всему глазами.

В тот же день поздно вечером в ворота купеческого подворья негромко постучали. Все слуги и приказчики были дома, являться гостям в такой час в Мангазее было не принято, и Корней, с облегчением подумав, что это наконец вернулся Истома, поспешил к калитке.

– Кого бог несет? – бодро осведомился он.

– Хозяина позови, – раздался с улицы чей-то хриплый, глухой голос, – весть имею, его касаемую.

Корней распахнул калитку, впустил во двор детину в рваном стрелецком кафтане, буром от грязи суконном колпаке и донельзя стоптанных сапогах. Это был бывший корабельщик Марфы Скорбеевой, Якунька Седло, спившийся к этому времени до потери человеческого облика. И без того опухшее лицо его будто распирало сейчас самодовольной ухмылкой. Был он, как обычно, сильно навеселе, нагло поводил глазами.

– Весть говоришь? – Корней подозрительно оглядел Якуньку.

– Ага. Поспрошай хозяина, может, купит, я дорого не возьму.

– Еще торговаться удумал, шпынь кабацкой! – Корней наладился было дать доброго тумака Якуньке, но тот успел отскочить в сторону, нисколько не смущенный таким приемом.

«Продажей вестей», то есть слухов, наговоров, а подчас и истинных новостей о тайных делах занимались в Мангазее лишь самые последние, презираемые всеми людишки, подобно Якуньке. Услугами их пользовались только в самых крайних случаях, дело это считалось зазорным, но Артемьеву было не до правил, укоренившихся в городе. Едва Корней доложил о приходе «продавца вестей», как Артемьев тут же поспешил навстречу и прямо на пороге сеней нетерпеливо схватил за плечо Якуньку. – Ну, каковы вести твои? – Якунька, на лету подхва-

тив монету, брошенную купцом, зачастил скороговоркой: – Чаю, людишек своих ждешь, так напрасно, – порешили их в одночасье мирские всех до одного.

– Откуда весть сия? – хмуро поинтересовался Артемьев.

– Сестра моя, Анисья, в женах у мирского литца-искусника Афоньки Чалого, – пояснил Якунька. Я в чулане у них притомимшись с похмелья лежал, слышал, как они промеж себя о деле сем речь вели. Ну, а опосля к ним еще один мирской захаживал, Корнилка Корнильев, то ж частил-лаял тебя да заодним и воеводу непотребно, што, мол, висеть бы вам на одном суку надобно... – с непонятной радостной оживленностью закончил Якунька.

В другое время подобная вольность дорого бы обошлась ему, но сейчас купец и внимания не обратил на последние слова Якуньки. – Про Истому не слышал ли чего? – как бы мимоходом, спросил Артемьев.

– Истомушке сто плетей приговорили, то ж поди Богу душу отдал, но ты-то, ты-то, купец наипервейший, пошто о себе не спросишь?

– А мне на лай их мирской, непотребный – плевать-растереть!

– Ой, зря, зря, родимый. Тебе ведь мирской суд вот што приговорил: Якунька с удовольствием провел рукой по шее, словно поправляя на ней петлю.

– Так, так, – по-прежнему бесстрастно кивал головой купец. – Кому еще о дельце этом поведал?

– Што ты, што ты, хозяин!.. – Якунька как мог изобразил на лице обиду. – Как я поведал о том, враз к тебе побежал.

– Вот за то хвалю, расторопен ты зело, а таким завсегда у меня перво место. Едкий, не обещающий ничего хорошего смех купца заставил поежиться Якуньку.

– Добавить бы тебе надобно за весть сию, – все с той же усмешкой продолжал купец, – но с меня ты мзду получил, теперь Корнея черед. – Эй! – крикнул он привратнику. – Проводи молодца сего по чести да по совести, ну и пожалуй его.

Якунька, несмотря на то что был навеселе, тут же сообразил, каким «пожалованием» сможет оделить его Корней. Тот и шага не успел ступить, как Якунька вьюном прошмыгнул за калитку.

– Ловок, бес! – не то в осуждение, не то одобряя шустрость «продавца вестей» подумал Артемьев и тут же заспешил в дом.

«Перво-наперво Истому добыть надобно, – хорошо бы живого, но можно и мертвого – болтать меньше будет. Ну, а во всем прочем страху от мирских воров мне не имать!

Появление Якуньки в доме Ждана Артемьева, ничем не примечательное на первый взгляд, вызвало в свою очередь целый ряд событий, причем начались они после того, как Артемьев побывал у воеводы.

Вскоре четверо стрельцов во главе с пятидесятником отправились по кабакам и посадским трущобам, долго кружили окрест, пока не отыскали Якуньку в кабаке „Сговорной избы“ у Епифании. Вслед за Якунькой в пытошном подвале очутились несколько мирских во главе с Корнилкой Корнильевым, а также литец Афанасий Чалый – низкорослый, большерукий мужик, затравленно поглядывающий вокруг.

Князь Уваров походил по подвалу, постоял возле молодого суетливого подьячего, глядя, как тот готовит, раскладывает по столу „опросные листы“ и после этого, усевшись в деревянном креслице, повел допрос.

– А ну, поведай нам, литец-молодец, – обратился он к Афанасию Чалому, – о чем речь вели вчерась меж собой ты да жонка твоя, как про суд богопротивный мирской провели?

– Наговор сие, напраслина, и знать ничего о том не знаю, – мрачно молвил литец.

– Напраслина? Ну-ну, – вроде бы даже посочувствовал ему Уваров. – А ну, ты поведай, – обратился он к Якуньке, который тут же съезжился под его взглядом.

– Неведомо мне, отпусти, князь, бога для, – плаксиво запричитал Якунька.

Воевода кивнул двум дюжим стрельцам в малиновых рубахах с закатанными рукавами. Стрельцы схватили Якуньку, вмиг повалили его на деревянного козла, скрутили руки и ноги.

Якунька терпел посыпавшиеся на него удары только потому, что еще больше воеводы боялся мирских. Он громко всхлипывал, умолял, чтобы его отпустили, и десятки раз проклинал себя в душе за жадность к деньгам, толкнувшую его на столь необдуманный поступок, как продажа вестей Артемьеву.

Три „боя“ Якунька, хоть и изнемогая от боли, выдержал. На четвертый, когда воевода приказал стрельцам:

– А ну, солцы ему подсыпьте на спинушку и, благословясь, ишо потрудитесь.

Якунька, сжигаемый нестерпимым жаром, захрипел, давясь слюной и слезами:

– Было, было сие, слышал я словеса и про суд мирской, и про то, што Жданишку Артемьева порешить мирские удумали.

– Неужто ты, князь, псу сему поверишь? – прервал стенания „продавца вестей“ стоящий впереди всех Корнилка. – Ведь оговаривает он по малоумию да страху людей добрых.

– Ты!.. – замахнулся на него Уваров. – Да я всю вашу мирскую кость начисто изведу!

– А то уж твое воеводское дело. – Корнилка бесстрашно посмотрел в глаза князю и, чуть споткнувшись на слове, тут же как ни в чем не бывало продолжал: – Ведомо мне от людей старых новгородских, как приключилось там то ж с воеводою, боярином Семеном Борисычем Вдовиком; велишь, так поведаю.

– Послушаем напоследок бывальщину твою.

– Истинно, князь, речешь – бывальщина то. За злодейства да за притеснения великие над людьми сирыми да малыми жители новгородские боярина Вдовика порешили и, в цепи заковав и во гроб положив, тако и земле предали в новгородском же Юрьевом монастыре.

– А ну, повтори, повтори, што изрек! – Уваров подступил к Корнилке. Тот покосился на тяжело насупленные лица стрельцов, подмигнул мирским: „Не робейте!“ – внимательно осмотрел пытошный подвал. Как ни тщательно были выбелены здесь стены, на них все равно проступали бурые пятна крови. В углу, у очага, на чугунной решетке калились щипцы и железные прутья для пыток. Здесь же неподалеку были аккуратно уложены деревянные гребенки для выдергивания ногтей, обручи с зажимами для головы, ременные и веревочные петли.

– А ништо мне и повторю! – задиристо выпалил вдруг Корнилка. – Как бы и с тобой, как с тем боярином, не сотворилось; вельми зол народ мангазейской на тебя ноне...

Отпрянув от Корнилки, Уваров секунду-другую в замешательстве только открывал рот, хватал воздух побелевшими губами, потом, чуть опомнившись, затопал ногами, закричал, срываясь на визг: – Взять, взять супостата!

Стрельцы бросились к Корнилке, но тот, опередив их, выхватил раскаленный прут из очага и сам ринулся на стрельцов. Тех будто ветром сдуло – сыпанули в стороны, а князь, отступая к стене и вжав голову в плечи, мелко-мелко крестился.

Корнилка не раздумывая метнулся к лестнице, но первая же ступенька подвела его. Подгнившая ранее, она просела под тяжестью тела, и Корнилка споткнулся. Этим тут же воспользовались стрельцы, дружно навалились сверху. Минуту-другую Корнилка яростно отбивался, но его прижали к земляному полу, с трудом, но скрутили ремнями. Тут же раскаленный прут несколько раз подряд мелькнул перед глазами Корнилки, и сейчас же он почувствовал, как рой нестерпимо жалящих огненных мух ринулся на него. Он извивался, дергался, пробовал отбиться головой, но мухи эти все беспощаднее впивались в грудь, в бока, в спину, пока не прожгли тело насквозь, насквозь... В последний раз очнулся Корнилка в ту минуту, когда стрельцы волокли его за руки к земляной яме в углу подвала. Здесь, при свете ярко горевшего смоляного факела, он увидел идущих вслед побитых, окровавленных мирских и литца Афанасия. Не было почему-то среди них „продавца вестей“ – Якуньки, и Корнилка еще нашел в себе силы, чтобы усмехнуться и подумать беззлобно: „Ужель сбег шпынь сей?“, как его сбросили вниз в

черную яму. На дне ее хлопала вода, а вокруг по стенам шуршали крысы. Мелькнул сверху багровый отблеск факела, и Корнилка, цепляясь руками за скользкую, заплесневелую стену, погрузился с головой в зловонную жижу.

...А Якунька в это время брел, пошатываясь и спотыкаясь, по одной из мангазейских улиц. Ныла иссеченная плетью спина, но еще больше изнывала в страхе душа. Не припоминал он, да и не было еще такого, чтобы вот так запросто отпускали со съезжей избы. „Это как же так, братцы, выходит?“ – силится осмыслить Якунька столь непонятный поступок воеводы, который со словами: „Гуляй, вошь!“ самолично выбил его со двора.

– Ой, то не ладно, не ладно, ребята, – повторял Якунька. – Куды-то он меня про запас метит, не иначе. Коли так, то надобно мне лыжи вострить в ватажники, аль в скиты вольные подаваться, видно, тут воевода распроклятый и вовсе жизни не даст...» Спотыкаясь и размахивая руками, как пьяный, Якунька вышел на дорогу к Посаду. Встречные посматривали на него, усмехались: «Вот час еще ранний, а шпынь сей уже где-то удосужился, вина аль меду набрался!»

Надеялся Якунька, что боль и докука от забот разойдутся, оставят его в одночасье, но они по-прежнему бередили душу, по капле-другой разъедали ее сомнениями... «Напиться бы, пригубить вволю винца-зеленца, глядишь бы, и полегчало, да где же взять его – кругом в долгах да прорехах он, разве што Епифаньюшке в ножки поклониться: „Выручи“», и Якунька тут же направился к «Сговорной избе».

Проследив, чтобы Корнилка и прочие мирские супротивники были надежно устроены после пытки, князь Уваров поспешил наверх. Как ни ярилось его сердце страстным желанием раз и навсегда покорить мирскую вольницу, он вынужден был повременить. Усмирять мирских нужно было сразу и большой силой, а для этого у него не было сейчас возможностей. Малые и большие отряды казаков и стрельцов собирали ясак в тундре или объезжали дальние становища пришлых самоедских племен, и мирские, зная об этом, не зря поднимали головы. «Чую, вновь всколыхнется сволота сия, про Корнилку и иных воров проведав», – подумал Уваров. Как ни отвратно ему, а придется кое время попридержаться, схитрить с мирскими, а уж как соберутся из тундры людшки воинские, он свое возьмет... Уваров подумал еще и о том, что неплохо было бы тряхнуть покрепче тех стрельцов и казаков, что службу городовую несут сейчас в самой Мангазее. Подумав как следует над этим, Уваров вечером того же дня созвал стрельцую и казачью старшину.

Сидя в широком заморском кресле, про которое в Мангазее говорили: «Аки трон завел себе воевода, возгордась без меры», – он высоко держал голову, поджав губы, едва кивал сотникам, пятидесятникам, старым стрельцам и казакам, которых никак не мог обойти, не позвать. Входили они, кланяясь уважительно, как и положено было перед лицом князя, но он-то хорошо знал, что здешние воинского обычья люди совсем не те, что в Москве. «Духом бунташным обуяны без меры, покорность на лицах, а за всем этим разбой единый, прости господи! – негодовал про себя Уваров. – Палкой бы по вашим спинам прогуляться вволю, вот как бы ладно пришлось!»

От этой мысли он вздохнул было с облегчением, но тут же спохватился, вновь строго поджал губы, обращаясь к служилым людям:

– Как стало ведомо мне, голытьба мирская, злокозненная вновь бунтовать удумала, так что выходит вам, слуги верные государевы, службишки хлопотной прибавится. И горестно мне, што сие многим не по нраву, ибо ленью вельми обуяны.

Отвечал князю сотник Аким Дементьев, могучий старик, выглядевший высоким даже среди своих рослых товарищей. Пригладив седые до серебряной белизны волосы, но все еще пышные и длинные, как и спускающиеся на грудь усы, он поклонился достойно, но без угодливости.

– Прости, воевода-князь, на слове моем, но лень – не сестра обычаю воинскому, и ленивых среди нас не число. А што касаемо мирских, то дай срок, утихомирим их. Одначе, мыслю, сие без кровопролития и других шумств учинить можно.

Дементьева в городе знал млад и стар, так как прибыл он сюда еще с отрядом Мирона Шаховского, у которого ходил в первых помощниках. Бывал он и потом во многих походах, во время которых прославился отменной храбростью, большим умом и сердцем щедрым к людям и их бедам. За все это Акима Дементьева называли в числе наиболее уважаемых людей в Мангазее.

– Такожды и о том молвить не грех, что вынуждают людишек бунтовать многие служилые твои, – смело продолжал Дементьев, – мздоимствуют, зверствуют беспричинно, отсель и ненужное озлобление в народе.

Слова сотника, конечно же, пришлось не по душе князю, и он с ехидной ухмылкой вымолвил: «Уж ежели ты тако речешь, да на попятный норовишь, шумств убоявшись, то остальным и сам Бог велел. Оно, конешно, по кабакам и с бабами на лежанках способней».

Дементьев спокон веку бобыль, человек строгой жизни, отродясь не смотревший на женщин, и виду не показал, как задели его слова князя. Лишь на секунду-другую полыхнула в глазах обида да крепче сжались пальцы могучих рук на рукоятке сабли.

– Истину речешь, князь, слаб человек, хоть будь он и обычая воинского, одначе ведомо тебе, што и нам доводилось окромя как на лежанках воевать. Государеву же службу, кою мы здесь держать поставлены, не токмо мечом, а и миром блюсти мочно.

Аким Дементьев вновь, теперь уже сдержанно, поклонился князю и отступил на место, по-прежнему высоко держа голову.

Понимая, как невыгодно ему в данное время спорить и заноситься с воинскими людьми, да еще с такими, как Аким Дементьев, князь картинно подобрел лицом, продолжал:

– Наша едина забота, штоб порухи делу государеву ни в большом, ни в малом учиниться бы не могло, потому людишек своих подбодрите да подтяните покруче и в службе, и в иных делах воинских.

Стрельцы и казаки дружно поклонились, заспешили к выходу, а некоторые даже отталкивали друг друга.

Для кого другого эта сцена прошла бы незамеченной, Уваров же хорошо понимал, что кроется и за этой усердной торопливостью, и за подчеркнута чрезмерным старанием служилых людей.

«Ах, злыдни, скоморохи непотребные! Не так, дак эдак досадить мне стараются. – Он как мог позабористей ругнулся про себя. – Ну, ничего, за мной не пропадет должок, сочтемся, даст бог, случай».

Князю Уварову впору бы со своими делами управиться да заботы тайные и явные отринуть, а тут поп этот Варсонофий, не будь тем помянут, покою не дает. Сегодня вот с утра раннего явился на воеводский двор и сидит в горнице с князем как равный, возглашает громогласно: – Ты-де князь-воевода, дела государевы верша, и о духовных бы не забывал, о том мне во граде тобольском сам архиепископ Киприан не единожды молвить изволил.

– Словам пастырским всегда с почтением внимаю, тому же и людишек своих учу, – уважительно отвечал Уваров, стараясь, чтобы как можно менее заметной была неприязнь к Варсонофию.

– Што есть грех? – продолжал разглагольствовать тот. – Бездна, по краю которой мы все ходим, готовые по слабости душевной в еще более тяжкие прегрешения впасть.

Уваров поморщился.

– Ты бы, отче Варсонофий, пастве своей о том молвил, людишкам, которы поменьше.

– Гордыня не есть украшение души человеческой, а боле суть дьяволова и тебе, князь как христианину гордыней той помене бы красоваться надобно.

Уваров развел руками так, как бы хотел сказать: «Вы посмотрите, люди добрые, что же это такое делается?» А Варсонофий меж тем еще более настойчиво повел речь:

– Поучений пастырских бежать – грех великий, ибо устами пастырей Бог глаголет или святые сподвижники его.

– Поучателей ноне больно много развелось, – не выдержал взятого тона Уваров. – Все благости да порядку поучают, а где взять благость ту во времена наши бунташные, да еще здесь, на краю самом землицы российской?

Раздражение князя не прошло незамеченным для Варсонофия, но тот был не из тех, кого можно было смутить или сбить чем. Он громогласно хмыкнул, да так, что зазвенело у близстоящих в ушах, и тут же погрозил князю пальцем:

– Не суесловь, воевода, супротив кого речи таки ведешь?

Уваров едва не онемел от изумления, пораженный выходкой Варсонофия, а тот как ни в чем не бывало опять настроился на поучения: – Владыко Киприан три наказа мне дать изволил: первый – книги богослужебные в Мангазею доставить, второй – часовенку срубить на месте, где отрок честной Василий ноне покоится, ну, а третий наказ – вот он. – Варсонофий бережно вытащил из-за пазухи свиток, замотанный в чистую тряпицу. – Велел владыко грамоту сию по всей епархии читать и по церквам, и так народу разному, ибо грамота от самого патриарха Московского и всея Руси Филарета.

Князь Уваров, как и положено было при упоминании особы патриарха, встал, перекрестился, промолвил достойно:

– Сие ноне вершить надобно, после службы с амвона прочтешь, а што часовни отроку Василию касаемо, то сие и граду мангазейскому и всем православным людям на пользу и укрепление веры пойдет.

Будто в воду смотрел князь Уваров, почти дословно повторяя слова Киприана, сказанные им в Тобольске перед отъездом Варсонофия:

– Людей жизни праведной, сиречь пустынников и мучеников, на Руси всегда было, и поелику тот отрок Василий к ним причислен может быть, о душе его, на небеси обитаемой, всем нам молиться надобно.

На вопрос Варсонофия о том, следует ли о причислении Василия сего к лику святых московскому патриарху отписать, поелику народ о том слезно молит, Киприан ответил: «Отписать можешь, но с делом сим поспешать не следует. Еще неведомо, как патриарх на сие глянет, а нам свой святой на Югре подарение от самого Господа, вере укрепление, церкви доход немалый...»

После заутрени в Троицкой церкви Варсонофий читал патриаршью грамоту. Народу набилось – не протолкнуться, и стар и млад.

– И за обычай то стало, – вновь удивляя всех необъятной зычностью гласа, провозглашал Варсонофий, – што люди православные, в земляцах югорских обретающиеся, о Боге, почитай, и вовсе забыли: постов не блюдут, в церквах не часты, жонок себе находят из самояди и протчих диких. Воеводы же, о том ведая, кромешников тех не только не унимают, но и сами в сластолюбии и алчности погрязли. Вера шатается – ереси: растут, идолы мерзостные среди людешек тундровых преобладают. Осените себя крестным знаменем, в грехах покайтесь, встаньте воителями за веру христову!

От старания великого широкое одутловатое лицо Варсонофия в пятнах багряных испариной покрылось. Выкрикивая слова грамоты, он вконец оглушил стоящих поблизости богомольцев, они отодвигались как могли, пятились, едва что не затыкая уши.

– Во искупление грехов наших, спасение души и укрепление веры православной, зову вас ноне всех на подвиг духовный! – продолжал неистовствовать Варсонофий. – Возликуем, граждане града мангазейского, возведем часовенку над мощами нетленными отрока Василия. Кто к сему прилежен будет, осияет того благодать Господня и ныне, и присно, и во веки веков, аминь!

Слова Варсонофия упали, как искры на пороховой фитиль, и тут же, будто ударило взрывом, разметало по толпе тревогу, и сейчас же толпа эта заходила, забурлила, причитания и плач вырвались из недр ее, и гул этот, многократно усиленный сводчатыми изгибами купола, тоже ударил в толпу раз и еще раз, увеличивая всеобщее смятение.

Вскоре к месту, где неподалеку от берега Таза был погребен отрок Василий, двинулся крестный ход. Вразнобой, но громогласно и истоиво, как и шествующий впереди Варсонофий, запели, запричитали богомольцы с иконами, хоругвями и крестами в руках.

На молитвенное пение богомольцев тут же откликнулись многоголосым благовестом на церковной звоннице. Поплыли над толпой и дальше к тундровым и лесным пределам то приглушенные и басовитые, то рассыпчатые и хрустально звонкие голоса колоколов от самых малых до большого главного колокола, басовитого, но с малиновой мягкостью и задумчивостью в звучании.

Крестный ход в Мангазее, если случай к тому выходил, всегда событие на весь город, а тут и того более – к самому отроку Василию, новоявленному святому шли.

Что ни говори, а такое впервые было. Свой простой и особенно близкий простотой этой человек вознесся, как полагали, к чертогам Господним. Вот почему старались перещеголять друг друга в молитвенном усердии богомольцы, и так небывало торжественно выглядел крестный ход.

Особенно усердствовали мангазейские богомолки: казачьи, стрелецкие, малых, средних и наибольших людей жонки, а также монахини, что прибрели в Мангазею «подвига духовного для».

Немало было здесь и бродячего люда, особенно нищих: калек, слепцов с поводырями, полуголых и босых, с длинными, давно свалывшимися космами волос.

Были здесь и юродивые с чугунными веригами на груди, в струпьях и лохмотьях, кишевшие вшами. Брели в толпе бабы-ведуньи и кликуши, которых считали первыми среди нищей братии. Все они старались показать себя позаметнее: выкрикивали несуразное, бормотали без устали заклятия, кто гнусаво и хрипло, а кто надсадно, срывая голос, распевали молитвы, славили отрока Господня Василия. Над толпой, не утихая, плыли разноголосые причитания, плач, истошные возгласы, мольбы о сострадании и жалости. Некоторые из молельщиков, еще до мест не дойдя, беспомощно всхлипывали, били себя в грудь, молились, падая плашмя на дорогу. Несколько баб-кликлуш, что, обессилев вконец, славя нового святого, и вовсе идти не могли, люди тащили на руках.

Варсонофий, несмотря на могучее здоровье, переусердствовав во время оглашения патриаршей грамоты, тож ослаб на какую-то минуту. Он зашатался, закрыл глаза, не в лад замахал кадиллом и готов был уже упасть у обочины дороги, если бы его не подхватили богомольцы.

– Батюшка, отец наш, укрепи дух свой, на тебя едина надежда в деле святом!

– Восстань пред ликом Василия-отрока, ко молитве и подвигу духовному веди нас! – послышалось из толпы, и эти выкрики как нельзя лучше помогли Варсонофию прийти в себя. Он глубоко, и сам дивясь этому, радостно вздохнул и тут же слабость его, как разбитые в единый мах тяжкие цепи, упала к ногам и ушла вовсе. С каждым шагом дышать становилось все легче и легче, и теперь уже он шел, ликуя и все более утверждаясь в мысли о том, что за свое молитвенное усердие будет он вот-вот удостоен знака свыше – благодати небесной.

– Я един тут ноне, коего перст Господен хоть и незримо коснулся, – подумалось, а может, и вьявь послышалось Варсонофию, то ли гласом приглушенным да жарким, то ли шелестом шелковым небес, что у губ теплился.

На месте, где определено было часовню ставить, люди еще загодя потрудились, здесь лежали тщательно вытесанные бревна, кучи бересты, пакли, остро отточенные топоры, грабли и деревянные клинья. Рядом, над берегом Таза, горбился небольшой холмик. Варсонофий тут же поднялся на него, повернулся к толпе. Вокруг, куда ни глянь, виделись Варсонофию лица

вплотную подступивших богомольцев и богомолков, бледные до прозрачности или горящие пунцовым румянцем, с глазами затуманенными, заплаканными и вовсе сумасшедшими. Варсонофий решительно и широко тут же благословил толпу от края и до края.

– Братья и сестры! – умиляясь в ликовании безмерном, возгласил он. – По примеру и обычаю старцев святых возведем часовню духом единым от первой ямы до последнего бревна, не прерываясь. С Богом, православные воители, за веру Господню!

Богомольцы сейчас же подхватили этот возглас и бросились, отталкивая друг друга, на поляну, окопанную неглубокой канавой.

Не успевал один богомолец топором раз-другой махнуть, как топор у него тут же выхватывали другие. Дым от двух больших костров густыми клубами плыл над толпой. Среди ярко пылавших головней костра обжигали концы бревен, тут же, поддержав немного концы эти в яме с водой, укутывали берестой, чтобы гниль в земле не подобралась, попрочней устанавливали на месте.

Совсем древние старухи и то работу себе подыскали: спотыкаясь, собирали и ташили в стороны охапки щепы, другие женщины плотникам помогали: где брус поддержат, а где и сами за топор да пилу возьмутся. На глазах росло основание часовни, ложились один на один венцы ее, и все ясней становились очертания будущих боковых притворов.

Варсонофий пел, восклицал неутомимо, а богомолки вокруг и далее на поляне подхватывали его слова, как в полузабытьи, тянули, выпевали молитвы настойчиво и неотступно. Мелькали напряженившиеся спины в мокрых от пота рубахах, лохматые головы, перемазанные смолой руки, перекошенные от усилий и страдания лица.

Часовню срубили добрую, с шатровой крышей, с куполом малым, похожим издали на вытянутую кверху луковицу, с притворами и резными наличниками по дверям и двумя узкими оконцами. На месте захоронения отрока Василия доску широкую, дубовую с крестом посредине выжженным укрепили, затеплили лампаду перед иконой Божьей Матери из соловецкого монастыря в Мангазею дареную.

Сутки, от зари до зари, не принимая еды и питья, правил Варсонофий службу в часовне. Сутки же не расходились оттуда наиболее ревностные богомольцы. Некоторые из них уже и на ногах стоять не могли, так все равно, на коленях или к земле приткнувшись, молитвы отроку Василию творили.

А Варсонофий в это время, охрипший и страшный, похожий на безумца, воздевая трясущиеся руки к небу, пытался все еще выкрикивать слова молитвы, бесконечной и нигде не написанной, понятной только ему одному.

Глава 9

Несколько дней подряд куролесили по-молодому бесшабашные задиристые метели. Налетая из тундры с посвистом и воем, мчались вдоль мангазейских улиц, били, швыряли охвостьями снежных вихрей в окна и стены домов, обрушивались на соломенные и тесовые крыши. В такие минуты казалось, что осень уже уступила дорогу близкой зиме, что еще день-два – и та воцарится здесь, укутает все вокруг волнистым снежным покрывалом.

Но вот отшумели метели, умчались неведомо куда, и оказалось, что и сила их, и буйствование было одной видимостью. И снегу они почти не оставили, и непогода тут же развеялась, и вновь открылась взору белесая в подталинех даль неба, где, заплутавшись, бродили, мягко отсвечивая солнечные лучи. Вот и утро, о котором идет речь, тоже было тихим, погожим, и сонная неторопливость его, заполнив собой все до отказа, чутко стояла на страже утвердившейся, казалось, здесь навечно тишины.

Но через некоторое время, как бы опровергая это, вдали возник неясный, наплывами, шум. Он то пропадал, то появлялся вновь, и эти звуки были похожи на ропот говорливого ручья, пробивающего себе путь среди залежей камня.

Вскоре все ясней стали слышаться крики, гудение скоморошких дудок, глухие удары по деревянному билу, переливчатый свист, позвякивание бубенцов и погремушек. Торговцы закрывали лавки, ремесленники – мастерские. Посадские молодичи и хозяйки постарше, махнув рукой на домашние дела, вместе со всеми спешили к дому заказного целовальника Савватия Бузы, где уже и без того ширилось, гудело, наливалось беспокойством людское море.

Все эти дни, выполняя наказ Скорбеевой, Ивашка отсиживался в доме Савватия, часами валялся на лавке или вырезал из чурбачков фигурки людей и зверушек, ловко орудуя ножом, а более всего томился от безделья, что удручало его до крайности.

Сегодня поутру к лавке, где мирно похрапывал Ивашка, подошел Савватий и тут же сдернул его на пол.

– Ты пошто?! – не успев проморгаться, невольно ойкнул Ивашка, но тут же мигом вскочил на ноги, задиристо подавшись вперед.

– Нрав-то, нрав каков в тебе... – дружески проворчал Савватий, – неча бока укатывать, пошли, сама кличет.

Не успел Ивашка пройти и десятка шагов по коридору, как навстречу ему тут же плеснуло шумом, ударило в уши звонкой разноголосицей, улюлюканием, свистом.

Скорбеева встретила Ивашку, стоя посреди светлицы. Выглядела она торжественно, и Ивашка, озадаченный этим, тут же отвел глаза: «Будто на праздник собралась, вон она какова ноне Марфа-то наша Ильинишна». Ивашка, весь в предчувствии близких больших событий, нетерпеливо подался вперед, но Скорбеева, только чуть посерьезнев лицом, велела Савватию: – А ну, поведай корабельщику сему о вести, нами полученной.

– Матушка, Марфа Ильинишна, – взмолился Ивашка, – каки вести ноне, сейчас одно дело – народ поднимать, слышь, как шумят?

– А пуцай шумят, – равнодушно произнесла Скорбеева.

– Это пошто же? – изумился Ивашка, никак не ожидавший от нее таких слов.

– Их я не звала, да и Савватий тож, они сами по себе.

«Хитрят... – тут же сообразил он. – Только к чему им тако со мной дело вести?» Он выжидательно примолк, устремив взгляд на Савватия, но тот как ни в чем не бывало проговорил:

– Вчера людишки были из тундры от Авксентия и поведали, што вдругорядь кораблик иноземный зрили, а тако же подметили, што к кораблику тому обоз олений будто бы из города поспешал, добирался.

– Велик ли кораблик? – заинтересованно осведомился Ивашка.

– Молвили, што велик, не видали такого в местах здешних.

– Вот бы его под руку нашу прибрать... – мечтательно протянул Ивашка.

– О том поразмыслим, – поддержала его Скорбеева и тут же спросила Савватия: – Не пора?

– Пора, думаю, – ответил он, неторопливо надевая кафтан и туго подпоясывая его широким кушаком.

– Давно бы так, – загорелся, радостно оживляясь, Ивашка, но Савватий, уже берясь за ременную петлю у двери, ведущей на крыльцо, коротко, но веско бросил:

– Никшни! Твое дело сей день – не шуметь, а, в сторонке пребывая, слушать да на ус мотать!

Савватий появился на крыльце степенно, оглядел так же народ, поклонился не спеша. – Челом вам, люди мангазейские, пошто колобродите, пошто шум учинили, я вас сюды не звал, не кликал.

– А мы и сами пришли!

– Не знаешь будто, зачем!

– Ишь ты, неведень какой сыскался! – сразу же плеснуло, как волной, криками в толпе.

– К князю-воеводе веди нас, коли ты целовальник заказной. Будем с того князя спрос-расспрос вести за людишек мирских, што похватал он безвинно.

Савватий развел руками.

– То дело княжеское, воеводское, и не нам о том судить. Бунтовать ежели намерились, то тут я вам не товарищ.

– А кому ты товарищ?! – продолжали недовольствоваться в толпе. – Ишь ты каков гладкий стал! Воеводе все угождаешь, а за людей сырых да малых кто в заступу пойдет?

Некоторое время Савватий стоял молча, спокойно, даже равнодушно поглядывая на толпу, и только очень наблюдательный человек мог бы заметить хитроватую искринку, тлеющую в его глазах. Помедлив еще немного, он вторично поклонился народу, виновато развел руками. – Неволите, неволите меня, люди мангазейские, ведь ведомо вам, што только неволею мне с вами к воеводе идти мочно.

– А иди как хошь, лишь бы шел! – подхватили в толпе. – Иди, а то силком поведем.

– Ну, коли до того дошло, – вновь сокрушенно развел руками Савватий и, выражая всем своим видом, что он все еще раздумывает над тем, идти ему с толпой или нет, нерешительно шагнул, спустился всего на три ступеньки крыльца. Люди тут же бросились к нему, вытащили на дорогу, обступили поплотней, и Савватий, невольно убыстря шаг, направился вместе с толпой к дому воеводы.

В шумной пестроте толпы никому бы и в голову не пришло разбирать, разглядывать, кто и как шагал сейчас бок о бок с Савватием, а между тем здесь были наиболее доверенные люди из мирской вольницы, великие ненавистники богатеев и воевод, готовые на все, лишь бы досадить им хоть в большом чем, хоть в малом. Недаром каждый из них нес под полой кафтана то нож, то шестопер, а то и прижатую к боку пицаль.

Как только миновали Троицкую церковь и вышли к широкому настилу, ведущему к воротам воеводских хором, тут же раздалась в стороны. Видя, что у ворот справа и слева расположились стрельцы, мирские пошли вкрадчивей, осторожней, и даже самые бойкие из них приумолкли.

Князь Уваров в окружении челяди, служилых и воинских людей стоял у «Красного крыльца». Завидев приближающуюся толпу мирских и зная, о чем они будут спрашивать, он с лихорадочной поспешностью подыскивал ответ, который позволил бы ему хоть на время поутишить всех этих воров. И еще неприятно поразило Уварова то, что с мирскими был Савватий.

«Конешно, он целовальник заказной», – размышлял Уваров, – «но ведь в таком разе мог бы и поостеречься быть заодно со швалью мирской».

Меж тем мирские приблизились, встали в десятке шагов от крыльца, и тогда Савватий вышел вперед, сняв шапку, степенно поклонился воеводе. – Прости за доuku, князь, но вот люд мирской едва што не силком сюды меня приволок, о товарищах своих пекутся, што в яме у тебя.

Уваров, в шлеме, кольчуге и в накинутаой на плечи собольей шубе, и без того напыщенный, важно откашлялся, повел речь, поигрывая голосом.

– Вы баловство да гиль оставьте! Корнилка и прочие воры за злодеяния свои большого спроса достойны, и то моя, не ваша забота.

– Прости на слове дерзком, князь, – вновь уважительно поклонился Савватий, – но, может, мы их сами поучим?

– Тут я один волен учить, казнить аль миловать! – Уваров надменно вскинул голову. – На то меня государь наш, Михаил Федорович, и поставил здесь. Всяка власть от Бога, а значит, власти той все покориться должно!

Савватий в третий раз поклонился, надел шапку и, повернувшись к мирским, громко крикнул: – Пойдем в обрат, люди мангазейские, негоже нам государева воеводу-князя гневить, о том я наперед вам молвил.

– Ништо ему, обойдется!

– Ишь ты, гневить его!

– Шли сюды зачем?

Князь Уваров, не слушая мирских, взмахнул рукой, и стрельцы по этому знаку тут же побежали, рассыпались вдоль высокой бревенчатой изгороди, что опоясывала воеводский двор, взяли наизготовку пищали. Казаки тоже заторопились, выкатили к воротам две узкоствольные, совсем игрушечные пушчонки.

– Не надорвитесь, сердешные!

– Эко вам, воеводским угодникам, заботушки! – задиристо взлетало над толпой, и тут же с новой силой раздалось улюлюкание, свист, хохот попережку с обидными, а то и вовсе срамными присказками, на которые мирские были превеликие мастера.

– Нишкните все! – Голос Савватия прозвучал так громко и требовательно, что в толпе приумолкли даже самые ярые крикуны. – И сказано: «Пришла пора – катись со двора!» – нравоучительно продолжал Савватий. – Коли кто не разумел сие, подь ко мне, я по-иному втолкую.

«Толковать» с Савватием желающих не нашлось, и мирские по два, три, а потом и все скопом двинулись за ним, оставив на этот раз в покое и воеводу, и его слуг. Но зато на других мангазейских улицах еще долго не утихал шум, растекался ручейками по дворам, площадям и закоулкам, потому что мирская вольница никак не хотела мириться с тем, что так удачно начатое дело закончилось совсем не угодным ей миром. От этого ярились шальной отвагой сердца, и мгновенно рождались, вспыхивали в душе такие же смутные и шальные мысли.

Когда мирские покинули улицу перед его подворьем, князь Уваров быстро и так, чтобы не видели стрельцы, перекрестился, вздохнул облегченно и, немного помедлив, поманил стоявшего неподалеку Реброва.

– Ну, зрил сие, слуга царской? Тако завсегда во граде сим ведется – воровство да шумство рядышком идут. Не знаешь в таком разе, творить што: то ли миром с теми татями обходиться, то ли в батоги их... – Князь испытующе посмотрел на Реброва: «Ответствуй, мол, посмотрим, што ты скажешь...» – Но тот выдержал этот взгляд смело.

– Не по чину мне, князь, тако тебе молвить, но батогами не всякого во страх введешь.

– Ништо... – протянул Уваров, – введем во страх, потрудятся тута мои людишки. Лицо князя при этих словах оставалось бесстрастным, чтобы никто не мог подумать, что уж так

занимает его вся эта возня с мирскими, и только в те минуты, когда, позевывая, он вытягивал вперед и без того тонкие губы, по краям рта змеились морщины и проглядывала на миг тяжкая озлобленность этого человека.

Отпустив Реброва, а заодно всех дьяков и подьячих, чтобы они не мельтешили в глазах, не лезли со своей нарочитой, холопшей угодливостью, князь Уваров присел передохнуть на ступеньку крыльца. К месту или нет, но в эту минуту вдруг вспомнилось ему все то, о чем они говорили вчера с Жданом Артемьевым.

Как вошел тот в светлицу, так ясно стало Уварову, что не с добром предстал перед ним хитрец сей. Поклонившись князю, Артемьев вытащил из-за пазухи цветной кожи кошель, высыпал из него на стол горку золотых монет и тут же не то удрученно, не то радуясь не к месту, заявил:

– Сии корабленники, воевода, што по наказу твоему я Скорбеихе таскал, вернула она да и молвила при сем, што людишки ватажные казачишек ребровских не изловчились поймать – ушла, как видно, грамотка на Русь.

«Ложь сие аль правда? – размышлял Уваров. – Ведь сему купчишке, душе столь подлой и злокозненной, веры и вовсе нет, а ватажникам тем более. Золотишко, вишь, не взяли – бессребренники, мать вашу в разнохлест, вор на воре!..» Мысли о ватажниках и ребровских казаках, конечно же, задели Уварова, больно кольнули его, но еще более нестерпимой была мысль о том, что и сам Ребров не успокоился поди, опять строчит доносы свои подлые на него, воеводу. И такое поношение приходилось терпеть от столь малого человека, по чину ли сие, по ходу ли, по месту? И вдруг, как осенило в эту минуту Уварова, пришло избавленьице всем докукам и хлопотам душевным. Епифания! Вот кто здесь поможет, вот кого на Реброва напустить надобно. Баба видная, хоть ладом, хоть нравом, да и умом ее Бог не обидел. Такая, ежели посулить ей поболее всякого добра, на любой рожон полезет. Ведь и сатана, прости господи, по сказаниям древних, уступал, бывало, хитростям да козням бабьим, ни прельстить, ни пересилить тех проклятущих баб не мог.

Возвращаясь на подворье, где жил он сам и стояли его казаки, Ребров думал о том, что Мангазея, столь удивившая его вначале, была теперь в тягость. Давно уже не привлекали, а вызывали лишь досадное беспокойство пестрота и шумное многолюдье здешних улиц, путаница заборов, частоколов и изгородей, громоздкость крепостных стен и башен, глядевших темными провалами бойниц.

Для Реброва, более всего почитавшего приволье дальних земель, тундровых и морских дорог, становилась нестерпимой жизнь в этом городе, и он не мог дожидаться того часа, когда наконец удастся покинуть Мангазею. Противны были натуре Реброва бесконечные мангазейские свары: на день не утихающая вражда малых и больших людей, драки, междоусобицы, произвол воеводы и его ближних.

Все это настолько обрыдло Реброву, что даже молиться он начинал теперь со слов придуманной им и подобающей случаю молитвы: «Помоги, Господи, выбраться поскорей мне со товарищи из круговерти мангазейской на простор да на ветерок привольный, тундровый, где бы мог я, именем твоим урепляясь, землиц новых приискать для державы российской...» И еще частенько вспоминал Ребров о судьбе посланных им на Москву казаков во главе с Семенкой Векшиным, чтобы грамоту о злодеяниях, творимых в Мангазее, в Сибирский приказ доставить. И конечно же, и близко не мог представить себе Ребров, что грамота эта лежит сейчас до времени в ларце у Марфы Скорбеевой, привезенная ей из тундры ватажным есаулом Никифором.

От долгого и столь опостылевшего мангазейского сидения ночами Реброва, здорового душой и телом человека, мучили кошмары. То он плыл в теплом, радужно-голубоватом море, то оно вдруг темнело, вздымалось на глазах до неба, бросало Реброва в глубину расхлестанных ветрами водных хлябей. А то убаюкивающая его нега поникших в штилевом бессилии

волн сменялась ледящим мраком. Тут же из бездонной, зловещей глубины его, круша друг друга, надвигались матерые льды. Их нестерпимо светлые с серебряным ореолом грани, похожие на гигантские остро отточенные топоры, уже были готовы обрушиться на Реброва, как вновь веяло теплом, пред которым тут же отступали льды. После таких сновидений у Реброва тяжело кружилась голова, и странная сухость перехватывала горло.

Вечером того дня, что начался шумом, поднятым мирскими у воеводского подворья, Ребров долго лежал, раскинувшись на лавке. Он бы и заснул так, опустив голову на пальцы крепко сцепленных рук, если бы его не потревожил молодой казак Ермил, назначенный в этот вечер сторожевым.

– Чего тебе, Ермил, аль словцо молвить удумал? – Ребров, всегда отличавший молодого казака за скромность и доброту, тепло посмотрел на него.

– Я-то не, а вот тута молодлица одна к тебе хлопочет.

– Молодлица, – удивился Ребров, – а пошто?

– Сие мне неведомо. Молвит: «Веди к Ивану Иванычу, дело свое только ему обскажу».

– А ну! – махнул рукой Ребров, и вскоре в проеме двери, распахнутой Ермилом, показалась Епифания.

Речь она повела необычно, вздыхая глубоко и вздрагивая неизвестно почему, а голос ее, и без того вкрадчивый, звучал в эти минуты ну прямо по-кошачьи, не говорила – мурлыкала что-то молодлица.

Ребров не знал, что сказать, что подумать, да и сам неожиданный приход к казакам в столь позднюю пору объяснить было трудно. Меж тем Епифания, присев на лавку, и вовсе затуманилась лицом.

– Может, и не ко времени я, ты уж прости, слуга царской, кланяюсь тебе просьбицей малой, челобитье есть у меня на Москву отправить...

– На кого челобитье?

– На князя-воеводу нашего, кровопийцу.

– Челобитье возьму, а молвить так негоже: воевода – государев слуга.

– И все ж окажи божескую милость, заступись за вдовицу горькую, беззащитную, покуда мне и вовсе погибель не вышла.

– Неужто на тот свет собралась? – не удержался, сверкнул глазами Ребров. – На молитвенницу да постницу ты не больно-то похожа.

– Уж будто бы, – на вздохе одним промолвила Епифания и так повела плечом да ресницами взмахнула, что у Реброва едва что дыхание не перехватило. Он тут же встал с лавки, покосился на Епифанию.

– Давай челобитье твое, и с богом, недосуг мне ноне.

– Ай, гонишь, сокол ясной? Худо мне штой-то стало, винца аль меду испить бы – душа горит.

– Ну, повремени, коли так. – Ребров молча снял с полки два высоких витых кубка, поставил один перед Епифанией, второй возле себя и, прихватив кувшин, отправился в подклеть за вином.

Минуту – не более помедлила Епифания после его ухода и тут же быстро достала припрятанную на груди крохотную, чуть больше ногтя, серебряную коробочку.

В синеватых проемах небрежно занавешенных слюдяных окон мелькали временами тени облаков, и тогда казалось, что это не они низко плывут над крышами, а кто-то ходит, высматривает у дома, не решаясь постучать, показаться в окне. Епифания, если и глянула в оконце, то так быстро, что это и заметить было нельзя, и, решительно раскрыв коробочку над кубком Реброва, высыпала несколько бесцветных кристалликов, что тут же рассыпались по дну и стенкам кубка.

Вскоре послышались шаги Реброва сначала вдалеке, потом ближе, явственней, благо половицы в доме были скрипучие, и тогда Епифания сразу расслабленно и томно присела на лавку. Вошел Ребров, щедро, через край налил оба кубка вином, степенно поклонился Епифании. – Во здравие и во избавление тягот, тебя обуревающих! Затем в единый дух осушил кубок, тогда как Епифания только сделала вид, что пьет.

– Так где же челобитье? – напомнил Ребров.

– Днями принесу. Епифания подняла глаза, улыбнулась по-прежнему томно и непонятно. Уж больно пригожим был этот казачий пятидесятник, чтобы вот так, сразу, взять и уйти ей. «...Ишь ты, стоит увальнем, прости господи. А вот взять бы, да чего уж там, плечом аль грудью тронуть невзначай, неужто он так бы и не всколыхнулся?»

Как это часто бывало у нее, едва напомнившее о себе желание сразу властно позвало, захлестнуло Епифанию, и она уже, оправдывая самую себя, тут же подумала, воровато опуская глаза: «...И пусть, пусть назло тому злыдню Ивашке». Она ль не билась, не пласталась перед ним. И ловка, и удатна вроде, и телом без ущерба, а он, хмель сухой, окромя Ерки своей проклятушей, ничего не видит, не слышит! В безмерной обиде на Ивашку, да и на казака сего, увальня беспонятного, а заодним и на весь белый свет, Епифания сетовала про себя: «Это што ж за напасть такая, иного в шею гонишь, отбиться не знаешь как, а тут к ним со всей душой – и нате вам!...»

Она вздохнула и вновь глянула на Реброва – почти резанула его зовущим, откровенно жадным взглядом. Но Ребров или не понял этого по простоте душевной или не захотел понять, а сказал совсем буднично:

– В таком разе не гневись, вдова стрелецкая, дела у меня еще не все переделаны...

Он отошел к окну, а Епифания вдруг резко и сильно распрямилась, как молодая лоза, которую лишь на момент пригнул к земле напасть-ветер, встала, прихорашиваясь, картинно поводя плечами.

Был в этом прямой вызов Реброву: «Вот я какова! Гляди да желей, што не уважил, не приголубил меня и што спохватишься потом, да поздно будет...» И все же что-то удержало Епифанию от решительного шага к этому сразу приглянувшемуся ей казаку. А вот будь на его месте другой человек, Епифания нашла бы что сказать, было в запасе у бойкой не в меру посадской молодницы таких слов немало. Могла она в единый дух человека в великий позор и посмешище ввести. Недаром завистливые посадские бабы вкупе со старухами-богомолками так судачили об Епифании: «...Издавна и по сей день три черта в ей сидят: един в гляделках бесстыжих, другой душу адову беспутную изворачивает, а третий на языке постоянно, так что такую уж лучше сторонкой обойти, пусто бы ей случилось!...»

Когда Епифания покинула горницу, Ребров тут же подошел к угловой лавке, где стояла деревянная бадейка, зачерпнул ковшом холодной с ледком воды, плеснул сильно в лицо, чтобы тут же избавиться от охватившего его дурмана, затем задул пламя сальницы и улегся на лавку. Сон тут же подхватил его, закружил в невесомо-рыхлых, едва ощутимых объятиях, унес в свои бесконечные владения, где мягко колыхался сумрак, источающий тепло, умиротворение и забытие.

«Ведь гасил же я свет, гасил!...» – было первой мыслью Реброва, когда он неожиданно проснулся от того, что перед глазами затрепетало яркое пламя сальницы, и дымные тени метнулись к потолку. Ребров протер глаза, приподнял голову и тут же увидел Епифанию. Спокойно так, словно в горнице она была одна, Епифания сбросила шубейку, сняла через голову летник, полотняную, расшитую яркими цветами кофту, распустила косы.

Ребров не знал, верить ему или нет своим глазам, несколько раз плотно закрывал их, опять принимался протирать веки, думая, что все это снится или так, пригрезилось ему, но Епифания не исчезла, наоборот, она исподволь эдак неторопливо стала приближаться к Реб-

рову, и лицо ее при этом все больше вытягивалось и бледнело. Не думая, как камень под ноги, бросил он первое, что пришло на ум:

– Как же это ты, откуда?

Епифания, не отвечая, почти вплотную приблизилась к Реброву, и он, пугаясь этой близости и трепеща, вновь воскликнул: – Пришла, говорю как, Ермил где?

– Дрыхнет твой Ермил, аж за ушами трещит у него, – сквозь зубы проговорила Епифания и тут же задула пламя сальницы.

«То я гасил свет, то она», – в растерянности подумал Ребров, не находя слов, чтобы как-то оправдаться перед самим собой, объяснить хоть как-то все то, что должно было произойти вот-вот. Он и негодовал на себя, и страстно желал этого, и готов был спрятаться куда подальше от нестерпимого озноба, охватившего все его тело, давно истосковавшееся без женской ласки в бесконечных скитаниях и походах. Он сжался весь, представляя, как завтра казаки будут посмеиваться да перешептываться ему вслед: «Нас-де берег да наставлял от бойкости и нрава молодежи посадских, а сам, праведник, загулял, видимое ли дело...»

Епифания, стоявшая у лавки, сбросила рубаху так, что она прошелестела полотном у самого лица Реброва, и он тут же почувствовал у бока горячее тело, источавшее жар свой в безмерном усилии... Епифания так ощутимо крепко оплела его руками и придавила телом, что он лишь улыбнулся в темноте жалкой виноватой улыбкой и, не раздумывая более, а лишь ужасаясь, принял в объятия Епифанию. И тут же будто окропило душу всеисцеляющим щедрым дождем, каждая капля которого наполняла неведомой силой, бросала в пронизанные волшебным сиянием чертоги. Ушли, сгнули земные докуки, сердечные скорби и томления, и лишь дальним-дальним, чуть заметным облачком мелькнула боязнь и забота о том, чтобы только не уходил этот сон или явь, или уж как там не называй.

Призрачно и скоротечно счастье человеческое. Бывает, что явится оно издалека, осветит все вокруг, поманит несбыточным и желанным, и человек уже верит, что пришли эти минуты, которых он долго и тщетно ждал, изнывая порой в ожидании, и что теперь это ожидание будет полностью вознаграждено. Все выше и выше возносило Реброва на гребень лучезарной, наполненной мягкостью волны, что выкатилась издалека, подмяв и рассеяв окружающий мрак.

Все существо Реброва до самых потаенных глубин прониклось этой лучезарностью, и он тут же уверился твердо и навсегда, что не сможет теперь и дня прожить без этой женщины, без ее ощутимо плотных, жарких рук, что по-прежнему не отпускали его из забвения, наполненным неиссякаемым счастьем.

Но вот в минуты самой высокой, чистой и благодатной в щедрости своей сердечной близости он был неожиданно и безжалостно свергнут с высоты ее.

– Очнись, да ну же, али и вовсе сомлел, голубь мой, – непонятно обыденно и просто прошептала Епифания.

Ребров, все еще блаженно шурясь, не отвечал, и тогда она повторила это громче, и голос ее при этом прозвучал настолько резко, что Ребров невольно вздрогнул и, приподнимая голову, открыл глаза. Епифания тут же деловито разомкнула его руки, убрала их со своей груди.

– Куды ты, поспешаешь пошто, не отпущу вовек... – блаженно ворковал Ребров, будучи весь еще во власти удивительной ласковой силы, столь щедро отданной ему Епифанией. Но та, уже не слушая Реброва, решительно поднялась, зашуршала одеждой, деловито и как ни в чем не бывало покашливая, и, совсем не к месту посмеиваясь, словно нарочно подзадоривая Реброва.

– Али и не казак ты вовсе, ежели скис и разомлел тако? Ободришь, зазнобушка мой, ведь, помнится, недосуг тебе было. Ноне же в час сей меня самую недосуги да заботишки одолели, так што прощевай покуда.

Он хотел остановить, удержать ее, но уже едва слышно проскрипела дверь за Епифанией, из сеней повеяло холодом, и Реброву не оставалось ничего другого, как расслабленно отки-

нуться на лавке, прижаться лицом к войлочному полавочнику, все еще хранившему тепло жаркого женского тела.

Не успела Епифания и десятка шагов пройти от казачьего подворья, как почти лицом к лицу столкнулась с Якунькой.

– Ты?! – отпрянула было Епифания, но тут же испуг этот мгновенно сменился злобой. – Чего тебя, проклятущего, носит поперек дороги людей добрых!

Смешавшись на минуту, Якунька отскочил в сторону и уже оттуда, кривляясь, замахал на нее руками:

– Сама-то, сама-то не шибко добра, грех-то вона как прет из тебя – корежит!

– Ты шпынь, гнида кабацкая, штоб я тебя вблизи и не видала, а то порчу наведу – сживу со света, слышь?

Почудилось Якуньке, что от слов тех уж и впрямь веет могильным хладом, и вся наглость и бесшабашность его сразу же отлетели. Он тут же сник и, уже заискивая, спросил: – Ужель ты и вправду осерчала на меня, Епифаньюшка?

– Молвила – сгинь, а то вот молитву учну творить за упокой души твоей преподлой!..

– Самой бы тебе, дьяволице, сгинуть! – хоть и про себя, но все равно с опаской ругнулся Якунька и, пятясь, поспешно скрылся за углом дома.

Словечко ловкое – «предтуманье» – издавна прижилось в Мангазее. К слову этому приучила погода, всегда капризная, всегда непохожая одним днем на другой, если не считать, что очень часто дни эти рождались и гасли в застоявшейся туманной дымке, щедро питаемой переполненным влагой воздухом.

«Предтуманье ноне», – говаривали мангазейцы в тот час, когда небо одевалось тяжелой синеватой хмарью, и она, клубясь, расползалась окрест. А бывало и так, что на сутки-другие хмарь эта сковывала небо, и оно, медленно полнясь холодной неподвижностью, застыло, казалось, на века.

В пору предтуманья людям всегда было не по себе: и душа тоской полнилась, и говорить не хотелось, ну, а если такой случай, как, к примеру, у Епифании выпадал, то и совсем деваться некуда было.

Князь Уваров, когда к нему рано поутру тайно пришла Епифания, и то спросил: – Пошто сумрачна столь, ай предтуманье тебя пристигло?

– Истину речешь, князь, ране я всегда удатной да легкой была в делах разных, а теперь спотыкаться стала.

Уваров ждал от нее других слов, но поскольку она ничего не добавила больше, вскользь заметил:

– Ведомо мне, что наказ мой ладно спроворила, так о чем речь твоя, не пойму?

Епифания тут же подумала: «Ведомо? Значит, недаром Якунька вокруг казачьего подворья шастал-высматривал...»

Уваров ущипнул Епифанию за бок и тут же притиснул к себе, зашептал в самое ухо:

– Значится, день-другой, и казачишка сгинет?

– Как уговор был, – смело отстраняясь от него, ответила Епифания.

– Ну и ладненько, лебедушка моя. – Уваров по-козлиному захихикал, еще раз тиснул Епифанию, но уже большее, так что та вскрикнула.

– Ништо, ништо тебе при телесах твоих. За послугу да за то, што молчать умеешь, награжу без скупости. Гряди к Манефе-ключнице, она тебе пожалование сотворит. – Епифания зашпешила к двери, стараясь поскорее убраться с глаз князя.

С субботы на воскресенье, когда, по словам бывалых и умудренных жизнью людей, нередко видятся вещие сны, сбылось наконец давнее желание Епифании. Привиделся ей Ивашка, да столь явно и осязаемо, что она, разговаривая с ним и захлебываясь в довольном

смехе от счастья, чувствовала даже теплоту руки, которой он ласково и бережно охватывал ее плечи.

Так уютно и легко было на сердце Епифании, так плавилось сейчас оно трепетной истомой, что боязно было и голову поднять да посмотреть в глаза любимому.

Епифания говорила и говорила, а Ивашка только поддакивал ей, но вот и он спросил, но каким-то не своим, чужим голосом:

– Говоришь и минуты не жить тебе без меня, а сама к казаку Реброву в постель забралась, это как?

– Ой, да Ивашенька, да хоть жги ты меня за сие, казни смертью лютою! – затрепетав вся от стыда и досады, запричитала Епифания. – С горя я горького на это метнулась, ты ведь меня вынудил, ты, тебе хотела досадить, а досадила себе, только душу опустошила да грязью ее тронула.

– На обман ты мастерица, казака поманила да обвела, а теперь и меня на каком деле обвести норовишь?

– Што ты, што ты, Ивашенька, да разве такое посмею я с тобой? – виновато понурилась Епифания, чувствуя, как рука на ее плече – рука долгожданного Ивашки, источала теперь уже не тепло, а холод, проникающий едва что не до костей.

Епифания подняла голову и, к ужасу своему, увидела, что это и не Ивашка вовсе, а подьячий Филька, по-прежнему обнимающий ее плечи.

– Господи! – со стоном взмолилась Епифания. – Это ты?

– Я, я, Епифаньюшка! – глумливо повторял Филька. – Я ведь такой, неотвязный...

Епифания изо всех сил оттолкнула его, но он не пошелохнулся и в ответ так прижал ее к груди, что она, закричав во сне от боли, тут же проснулась. В окна чисто прибранной горницы заглядывал погожий осенний день. От лампад, теплившихся в переднем углу перед иконами, расплывался медвяно-горьковатый запах, было тихо, благостно, но все это никак не могло успокоить Епифанию.

«Сон-то, сон каков! – все еще продолжала переживать она. – Вот и гадай теперь, к чему он, што вещует мне, опасает аль напасти новые сулит?» Может, он к тому, что она все эти дни старалась выполнить просьбу Фильки? Иголкой, посылаемой рукой бойкой швеи, прошивала толщу мангазейского бытия, но как перед стеной каменной оказывалась каждый раз, стоило ей начать разговор о недавнем оленьем обозе. А ведь люди, к которым она обращалась, в большинстве своем были ее доброжелателями, а то и должниками, но все равно отмалчивались, а то и открещивались пугливо.

Вчера в вечер один из мирских гулеванов, как знала она, давнишний ее вздыхатель, готовый за одну улыбку или благосклонный взгляд на любое безрассудство, догнал ее на улице, осмотрелся тревожно и торопливо и, понизив голос, сказал:

– Разумно ты всегда речешь и дела творишь, Епифаньюшка-краса, а тут в таку промашку пустилась...

– Не пойму, о чем ты? – деланно улыбнулась Епифания.

– Чего ж понимать тут, – продолжал он, не отрывая взгляда от ее лица. Брось опросы-расспросы свои, ну, зачем тебе, красе да паве, в таку опаску входить?

– И верно, зачем? – стараясь все свести к шутке, рассмеялась Епифания. – Полюбопытствовала и будет...

– О том и речь! – обрадовался мирской. – Тебе ина дорожка выпадает – вона уязвляюща ты сколь!

– О том на досуге подумаю, – уже не глядя на мирского, насмешливо сказала Епифания и пошла легко, неторопливо, зная, что он с тоской смотрит ей вслед.

Филька в этом деле действовал намного тоньше и осторожней Епифании, но и ему не повезло. Более того, на своем месте в приказной избе он нашел среди иных грамот и воевод-

ских посланий неизвестно кем подброшенный бумажный листок. На нем четкой скорописью значилось: «Понеже тебе, псу и выглядчику воеводскому, мало того было, што тебя, пса и выглядчика, живым у заводи оставили, то тако сотворим и вдругорядь, но намного злее, ежели ты, пес, не уймешься и не оставишь свои мерзостные спросы-расспросы, а о чем, тебе, псу, самому ведомо...»

Филька, не замедлив, тут же отнес этот листок князю Уварову. Тот несколько раз неторопливо и внимательно прочел это столь необычное послание, задумался, а потом так же задумчиво произнес:

– Был, есть и будет предивен град мангазейской. Законы и устои наши российские колеблют тут ежедень: люд бродячий – сволочь разнолика, рвань мирская, а ноне вот и другие объявились – тайные враги, не знаю уж как и назвать их...

Филька в ответ ничего не сказал, лишь поклонился на всякий случай.

Ключницу воеводы, Манефу, всегда молчаливую и мрачную старуху, в доме и на подворье сторонились и боялись не менее хозяина. Прислугу: сенных и кухонных девок, истопников, поваров, пирожников, квасоваров и дворовых сторожей – держала она в великой строгости. Ежели замешкается, сохрани господи, кто в деле каком, то она, бывало, лишь процедит сквозь зубы: «Штоб не оступался впредь...» – но так, что человека от слов тех едва к земле не пригибало, и он старался поскорее убраться подальше.

Когда Ермению привели к Манефе, та долго и испытующе рассматривала ее, но, видимо, не удовлетворившись этим, спросила, насупившись: – Покоришься воеводе аль другого боя его ждять намерилась?

– Бой мне принимать не впервой, в сиротстве росла, и учили, и били предостаточно – притерпелась.

– То для воеводы ништо! Все равно по-его будет – или голову потеряешь, да и Ивашка твой заодно.

– Ивашка?! – с таким отчаянием воскликнула Ерминия, что даже на каменно-мрачном, иссушенном годами лице Манефы промелькнуло что-то похожее на удивление.

– Коли забьют меня здесь, то на том свете с жалобой на вас предстану самой Богородице! – бесстрашно бросила она в лицо Манефе. – Ну, а ежели Бог сподобит вырваться отсель, я за Ивашку жизни, души не пожалею.

Манефа в ответ скуп, почти не разжимая губ, усмехнулась.

– Што в нем доброго, в Ивашке твоём? Гулеван, зерщик, питух кабацкой, кромешнику иному в пору.

– Да люб он мне, вот уж как люб! – с отчаянием воскликнула Ерминия, и плечи ее свело, как судорогой, от рыданий. Манефа еще долго стояла на месте, шепча молитву или пытаясь сказать что-то, но потом, раздумав, медленно пошла вдоль стены прируба, и только в глазах ее нет-нет да и мелькало недоумение.

До ночи металась на лавке Ерминия и причитала, и слезами не захлебнулась едва, а когда луна пронизала острыми голубоватыми лучами слюдяное оконце, Ермению вдруг осенило: «Бежать, сразу, сейчас, чего бы ни стоило, на волю вырваться, что там ее горести да докуки, коли Ивашка по ямам мыкается».

Упрямо поджав распухшие губы, Ерминия поднялась с лавки, решительно направилась к узкому оконцу. Коротко ахнув, задыхаясь от боли, что все еще терзала ее после воеводских побоев, она кое-как протиснулась сквозь створки оконца, выбралась на крышу, заскользила вниз, быстро перебирая руками.

Так уж не повезло Ерминии, что она упала прямо к ногам сторожевых стрельцов. Один из них, худущий, кудлатый, с веревкой в руках, замахнулся было на Ермению, но ударить не успел. Из-за угла показалась Манефа и еще издали крикнула властно:

– Стой!

Стрелец тут же отступил, злобно скривил губы, матюгнулся вполголоса.

– Ступайте все! – с привычной строгостью продолжала Манефа. – Я одна с беглянкой потолкую, одна к воеводе доставлю.

Стрельцам не оставалось ничего другого, как отступить, так как спорить с ключницей никто не решался.

Подождав, пока отошли стрельцы, она склонилась над горестно поникшей, плачущей Ерминией:

– Куды намерилась?

– Ивашку выручать! – с отчаянием ответила Ерминия.

– Ай, дура, ай, неведень, не знаешь, куды лезешь, – сердито повела глазами ключница и, склонившись над Ерминией, уже спокойнее спросила: – Идти сможешь?

– К воеводе?! Да лучше здесь забейте! – с рыданиями вскинулась, закрылась она руками.

– Пойдем, пойдем, – проворчала ключница. – Покуль у меня побудешь, а там посмотрим...

Ерминия все медлила, и тогда ключница прикрикнула:

– Ну!..

Закусив губы, чтобы не закричать от боли, Ерминия кое-как поднялась и, пошатываясь, побрела за Манефой.

Глава 10

В тот раз, когда Семенке удалось так ловко уйти от ватажников Никифора, попутный ветер был его верным спутником. Ровный и сильный, он туго выгибал парус казачьего струга, заставляя его все быстрее и быстрее скользить по волнам. От этого легко было на сердце, не хотелось думать ни о чем тревожном, и уже не казалась трудной предстоящая дорога. И все же к полудню Семенка понял, что ему нужно было выбирать: рискнуть и в одиночку направиться «поперечь» моря, затем сухопутьем выйти к Камню – Уральским горам, а уж оттуда держать путь на Русь или идти, подниматься берегом до устья Оби и далее до владений самоедского князя Мамрука, всегда, по слухам, помогавшего путникам-мангазейцам.

Вздыхнув, Семенка оставил на время рулевое весло, встал в струге, держась за мачту. Водная пустыня от края и до края неба мерно вздымала небольшие приплюснутые волны. Вблизи же они появлялись только изредка – выкатывались из толщи водных глубин и тут же, сникнув, извивались замысловатыми узорами пенных кружев. И все же, как показалось Семенке, море при всей его доброте и спокойствии таило до времени коварство и силу, против которых он был ничто в своем утлом, узеньком струге. И тогда, махнув рукой, Семенка покрепче надвинул шапку и, вновь взявшись за рулевое весло, направил струг вдоль берега.

Почти две недели шел Семенка обскими низовьями и самой Обью, пока впереди не показался ступенчатый мыс с мощно выгнутыми боками. Вскоре ветер сорвал сизое покрывало, венчающее его вершину, и мыс тут же закрыл собой полнеба, нависнув над пенной кипенью вод.

Под кручей, у самого берега, меж замшелых каменистых валунов рассыпались полукругом десятка два задымленных чумов. Чуть выше виднелся чум пообширней и почище. Перед ним на высоком шесте покачивалась белоснежная оленья шкура и торчало несколько палок с насаженными на них головами деревянных идолов-сядаев.

Стоянку обдорского князя Мамрука Семенка узнал сразу, здесь он бывал и ночевал в ту пору, когда шел с отрядом Реброва в Мангазею. «Неужто запомнил меня самоедский боярин сей? Ежели так, то знать надобно, как с ним речь вести, в которую сторону податься...»

Семенка только причалил к берегу, как из большого чума вышли два крутых в плечах самоеда с копьями в руках, встали у откидного полога, заменяющего дверь. Тут же к ним присоединился старый мрачный шаман, кухлянка которого была плотно увешана пестрыми лентами, побрякушками, шкурками песцов и чернобурых лисиц. Крепко сжимая рукой большой коричнево-грязный бубен, шаман трижды ударил в него колотушкой, и тогда из-за полога чума показался грузный, неторопливый в движениях самоед.

Кухлянка его, из белого оленьего меха, была затейливо расшита узорами из суконных полосок, на груди, на массивной серебряной цепи, висела, тоже из серебра, полукруглая гривна, знак княжеского достоинства. Семенка и ранее видел Мамрука, поэтому тут же уважительно поклонился ему.

Видно было, что Мамрук очень дорожил гривной, пожалованной ему по указу царя тобольскими воеводами: часто, с горделивым видом поглаживал ее пальцами, без надобности передвигал из стороны в сторону.

Семенка, сообразив, что дожидаться вопросов самоедского князя ему не с руки, повел речь первым:

– Наказал мне воевода – князь Уваров, перво-наперво узнать о здравии твоём и домо-чадцев твоих.

– Здоров, здоров, благодарствую князю, – почти правильно выговаривая русские слова, ответил Мамрук, и тут же сам спросил: – А каково князь пребывает?

– Слава богу, и на руку тверд, и на ногу быстр, и глазами зорек, в заботах – службу государеву правит.

– Так, так, – кивал головой Мамрук, и хотя лицо его в эти минуты выражало внимание и благодушие, Семенке показалось, что он ждал от него совсем других слов. Чтобы подтвердить свое требование, с которым он собирался обратиться к Мамруку, Семенка далее повел разговор столь напыщенно, что даже чуть струхнул в душе.

– Я потому один вперед послан, штобы путь хорошенько проведать, казаков и воеводу березовского упредить, што будут к ним в скорости служилые мангазейские люди. А еще наказывал мне князь Уваров, штобы ты и людишки твои поруху делу сему не чинили, а помощь штобы от вас и оленями, и припасами всякими была.

– А чего другого воевода не наказывал тебе? – Мамрук насупленно и испытующе уставился на Семенку.

– Да нет, все поведал как есть, – смело отвечал тот.

В разговор вступил молчавший до этого шаман. Глядя на него, Семенка насторожился, подобрался весь: «Еще наплетет чего супротив меня баальник сей, вона как глазищами-то своими волчьими поводит...» Семенка тут, как говорится, попал в самую точку, так как в эту минуту шаман выговаривал Мамруку:

– Слова этого человека лживы, разве ты не видишь, что он только смело открывает рот, а нутро его трясется, как у попавшего в капкан песка? Его нужно поджарить у костра, и тогда он скажет слова правды.

– Подождем, – уклончиво отвечал Мамрук, – ожидание – умение мудрых.

Все больше тревожась в душе, Семенка все же решил не отступить и тут же уважительно, но настойчиво осведомился у Мамрука:

– Так как же, князь, каково слово твое будет – поможешь мне аль нет?

– Люди воеводы – наши гости, поможем тебе, но сейчас время трудное, снегу мало есть, олешка быстро не побежит. Пока живи – мясо, рыбу ешь, потом олешка поедешь, я велю.

Чувствуя, что Мамрук хитрит, не договаривает что-то, Семенка вида не подал, лишь поклонился, кратко сказал:

– Ждать не могу, наказывал мне воевода, штоб шибко шел.

– Ждать надо! – повторил Мамрук, и в голосе его послышалось недовольство. Махнув рукой, он направился к чуму, как бы давая понять Семенке, что князю здешнему нельзя прекословить.

Как только Мамрук, отпустив Семенку, вошел в чум вслед за шаманом, в облике обдорского князя произошла разительная перемена. Он ссутулился, сжался весь, будто его придавило тяжестью какой, подобострастно поглядывая на шамана.

– Русские, повесив тебе на шею вот это, – шаман презрительно ткнул пальцем в гривну, – видно, лишили тебя разума: скоро ты совсем будешь ползать у их пяток, как побитая собака...

– Я всегда слушался тебя, великий, – совсем уже приниженно пробормотал Мамрук.

– Не меня, не меня! – затрясся вдруг, как бы выбрасывая из себя слова, шаман. – Её ты должен почитать и слушать постоянно, ту, которая повелевает всеми нами и всем миром!..

Он опустил руку за пазуху, рывком выхватил оттуда что-то мелькнувшее желтым и поднес к глазам Мамрука. И тогда могущественный обдорский князь, которого знали и боялись все жители обдорской и мангазейской тундры, поник головой и, присев на корточки, уперся руками в землю в знак полной покорности и повинования.

Если бы Семенке было известно об одном сговоре, существовавшем между Мамруком и князем Уваровым, то он все бы силы приложил к тому, чтобы как-нибудь да уйти из стойбища самоедского князя. По этому сговору было условлено, что любой человек, прибывший из города от воеводы, обязан был иметь условный знак – песцовую шкурку с большой воеводской печатью. Всех прочих, не имеющих такого знака, кто бы они ни были, Мамрук обязан был

доставлять в Мангазею. Он и с Семенкой, не задумываясь, поступил бы так, но его до времени удерживал независимый вид казака и то, как смело вел он разговор с ним, с князем.

Некоторое время Мамрук ждал, что вот-вот придут остальные казаки, везущие, как он предполагал, воеводский знак, но дни шли за днями, из Мангазеи никого не было, и тогда Мамрук понял, что его обманули.

Беспощаден был в гневе обдорский князь. Однажды утром Семенка проснулся оттого, что тело его ныло, как придавленное тяжким грузом. Он безуспешно попытался пошевелить одной рукой, второй, потом ногами и, наконец открыв глаза, с удивлением увидел, что связан, вернее, плотно спеленут оленьими шкурами и ремнями.

– Вот те раз! – подивился Семенка. – Это пошто ж меня нехристи так упеленали? В эту минуту он увидел Мамрука. Тот стоял неподалеку и не мигая смотрел на Семенку. Так неуютно стало тому от этого взгляда, что он поежился, поджался, насколько это было возможно в его положении, и, объятый тревожными предчувствиями, мысленно перекрестился, произнес про себя знакомое с детства заклинание от дурного глаза.

Мамрук, напыщенный и недоступный пуще прежнего, медленно поднял руку с оттопыренным указательным пальцем и тут же ткнул им в сторону Семенки. Того сейчас же подхватили мамруковы слуги, привязали стоя к нартам, чуть поослабив ременные петли на ногах.

Вначале Семенка не понял, что замышляют самоеды, – торопливо, насколько это было можно, осмотрелся, крутя головой. Но вот оленья упряжка тронулась, заскользили нарты, и вместе с ними как мог двинулся Семенка, босой по мерзлой острой траве.

Откинуться назад ему не давали ремни, а стоило чуть склониться вперед, тут же упирались в грудь и живот укрепленные на нартах короткие острые палки, так что приходилось бежать, держа высоко задранную голову, вытягивая до отказа шею.

Шкуры на теле и ремни ниже пояса не позволяли делать широких шагов, приходилось невольно семенить ногами мелко-мелко, подпрыгивая раз от раза все выше и выше.

Боль, вспыхнувшая в окровавленных, рассеченных травой ногах, ударила в колени, в поясницу, свела грудь и тут же ухнула вниз, вновь впилаясь десятками пиявок в ноги. А олени, все убыстряя бег, неслись по тундре, резко выбрасывая ноги, отчего шаг их казался невероятно широким: раз, другой, десятый и вот уже они, не останавливаясь, казалось, взмоют в небо, помчат меж влажной рыхлости облачных дорог.

Не выдержав, Семенка безвольно поджал ноги: «Пусть волокут дале так, изверги! – мелькнуло в голове. – Все едино вот-вот Богу душу отдам. . .» Но тут же сотни огненных кнутов так обрушились на ступни и колени, полоснули, прожгли их, что Семенка сам рванулся вновь, как мог устремился вперед.

. . . Вставало, падало небо, рассыпалось лучами, с хрустом и звонами обрушивалось на голову. Теперь уже не только в ногах Семенки, а вокруг, во всем мире буйствовало беспощадное пламя, сжигая небо, тундру, морозный воздух. И нельзя было ни дышать, ни жить, ни уйти хоть на минуту от этого всепоглощающего беспощадного пламени.

Очнулся Семенка уже в пути, трясаясь и раскачиваясь в нартах. Каменно немело тело, но особенно мучительной была боль в ступнях и коленях, все еще не оставляющая Семенку после «мамрукова наказания». Его провожатые, или сторожа при нем, шут их разберет, были злы, немилостивы, а если доводилось им говорить что, то все с окриком, с руганью. Бывало, и на землю сбрасывали Семенку после дневного пути, как куль какой, прости господи, а уж кормили так скудно, что у него живот подвело.

На пятый день пути в Мангазею, а то, что его везли туда, Семенка слышал от самих самоедов, случилось такое, что Семенка и не знал уж, как назвать: божьим соизволением, удачей, а может, и шальным везением, которое судьбу его совсем по-иному направило.

С утра с короткими перерывами шли один за одним снежные заряды, и потому самоеды все время поторапливали оленей, стараясь поскорей вырваться из белесой круговерти.

Семенка как мог мостился на нартах: безуспешно кутался в рваную малицу, подтягивал ноющие ноги в опорках меховых сапог, пытался подсунуть их под мешки из оленьих шкур, привязанных к нартам.

Очередной снежный заряд кончился, но Семенка на дорогу не смотрел, даже головы не поднимал, а тут глянул случайно, и оторопь его взяла. Совсем рядом, на пригорке, выросли-встали два матерых, злобно оцетинившихся волка. Олени тут же сбились с шага, метнулись в сторону раз и другой, и вдруг так рванулись вперед, что Семенкин возница, не удержавшись, выпустил из рук шест и тяжело упал в хрусткую от мороза траву. Шест пребольно стукнул Семенку по спине, но он, не обращая внимания, ловко подхватил его, взмахнул над головами оленей, крикнул погромче, но они и без того, стремясь поскорее избавиться от страшного соседства с волками, неслись уже что было сил.

– Вот повезло, ай, повезло, ну, наконец-то, господи! – крикнул и всего-то Семенка, как все вокруг вмиг потемнело, завывло, а взбунтовавшийся снег принялся в сто кнутов нахлестывать и без того ошалело несущуюся упряжку Семенки.

Только к вечеру остановился он на ночлег в редколесье у старого завала из полустгнивших бревен. Тут же напозла темнота и, густея на глазах, стала вскоре такой непроницаемой, что, казалось, больше уж никогда не будет ни света, ни дня.

И все же настал завтрашний день, и он начался для Семенки с беспокойства, что пришло к нему прилипчивой хворью. Вот и повезло ему: была у него и свобода, и добрая оленья упряжка, и мяса и рыбы сушеной на нартах вдоволь, а как и куда путь держать, он не знал. Поразмыслив немного, он решил выбираться к устью какой-нибудь речки, чтобы потом продолжить путь водой. Вскоре встал на дороге Семенки плотный могучий лес, и ни вправо, ни влево конца ему не было видно.

«Видать, леший баловался здесь», – невесело усмехнулся Семенка при взгляде на вывороченные и наброшенные друг на друга замшелые ели и сосны, сцепившиеся в могучем единоростве извилистыми корнями, на широченные, в два-три обхвата, пни некогда шумевших здесь лиственниц. Нечего было и думать лезть с упряжкой в эту чащобу. Только одного оленя, вожака, оставил Семенка, погрузил на него немудреные припасы, остальных же оленей отпустил на волю.

Лес встретил Семенку неприветливо. Не было здесь и близко задумчивой легкости, мягких шорохов и волнующего трепета подмосковных дубрав, где родился он и провел детство.

С каждым шагом становилась все неприветливее и без того мрачная чащоба. Там и сям за деревьями виднелась болотная зыбкость. Черные окна ее в окружении пышной бахромы из гниющих трав курились тяжелыми синеватыми испарениями. Здесь же дыбился молодой пихтарник, увитый от гибких вершинок до корней длинными бородами, порослью молочно-белых волокон лишайника.

Под утро, когда сон был особенно крепок, привиделось Семенке, что он умер, заблудившись в этом проклятом лесу, и что зовут его на Страшный суд и расправу небесные ангельские трубы. Звуки их как бы наваливались нестерпимой тяжестью, почитай, что разрывали уши дьявольским стонущим многоголосьем.

Проснувшись, Семенка оторопело закрутил было головой, поглаживая плечо, ушибленное о корень сосны, но тут же приник, прижался к земле. Уже не во сне, а наяву зазвучал над лесом заунывный, стонущий вой, будто и впрямь неподалеку выпевали небесные трубы конец света, а заодно и его, Семенкину, погибель.

Он и досыпать не стал, какой уж тут сон, – вскочил, помолился на всякий случай и только увидел, что остался совсем один: за ночь олень сумел как-то разорвать сыромятный ремень и убрести неведомо куда. Хорошо еще, что мешок с десятком сушеных рыбин был под головой у Семенки. На этот раз он и про еду не вспомнил, перекинул мешок через плечо, зашагал прочь

от этого места, заторопился. Проклятые трубы нет-нет да и подгоняли его своим утробным воем, не поймешь – или пугали Семенку, или насмеялись над его страхами.

Уже совсем рассвело, когда он впервые за все это время вышел на большую поляну и тут же увидел прямо перед собой большую стрелу, наклонно воткнутую в землю. К древку ее были привязаны желтый лоскут и небольшой кожаный кошель. Семенка вознамерился было ознакомиться с его содержимым, когда, оглядевшись, увидел, что стрел с лоскутьями и кошелюми здесь десятки. Удивило его то, что все лоскутья были только желтого цвета, усыпавшие все, что было набросано вокруг: нарты с грузом, забытые или нарочно оставленные здесь, оружие, посуду, полусгнившие олени и медвежьи шкуры, вырезанные из дерева идолы-сядаи и даже несколько людских черепов.

Вскоре ему стали попадаться завалы из длинных сосен, укрепленные по краям большими кольями. Пробраться здесь можно было только по узким переходам, да и то с оглядкой, так как вокруг во множестве торчали заостренные деревянные шипы.

Поранив руки и изодрав одежду, Семенка вышел к ровной каменистой площадке. Чуть поодаль высились камни покрупней, а за ними торчали из земли несколько гладко отесанных могучих бревен, пространство между которыми было закрыто занавесом из оленьих шкур. «И тут постарались нехристи, их, поди, работа», – решил Семенка, как совсем рядом вновь зазвучал стократно усиленный лесным эхо все тот же сатанинский вой. Семенка припал к земле и, уже стоя на коленях, глянул с опаской в прогалину между кустами. Счастье его, что кусты эти стояли плотно и отбрасывали далеко вперед горбатые, перевитые травами корни. Такой барьер неплохо скрывал Семенку или, во всяком случае, давал ему возможность надежно затаиться здесь до времени. Он подумал об этом, ощутив пробежавший по спине холодок, так как то, что происходило в эту минуту на поляне, было совершенно непонятным Семенке и оттого вдвойне страшным.

Заколыхался занавес из оленьих шкур, растянутый на веревках между бревнами, и тут же появились семеро рослых самоедов в длиннополых красных одеждах со связками сыромятных ремней в руках.

«Вязать будут кого, или што?» – едва успел подумать Семенка, как эти самоеды принялись раскручивать ремни над головами. Тут же вдоль их тел, скользя и падая, заструились вниз грязно-коричневые кольца, да и сами самоеды закружились вдруг так стремительно и легко, что их можно было принять издали за огромные буро-красные волчки, запущенные здесь волею невидимого, но близкого волшебника.

В эту минуту упал занавес из оленьих шкур, и Семенка едва удержался, чтобы тоже не закричать, не выдать себя.

Между бревнами, склоненными к центру небольшой площадки, стояла на плоском зеленом камне обнаженная до пояса женщина. Всеми бликами желтого цвета, от нежно-лимонного до золотисто-коричневого, отливало ее лицо, волосы и одежда, вернее, накидка, ниспадавшая широкими складками с левого плеча и веером расходившаяся чуть ниже груди. Неизвестно почему, но Семенка с трепетом ждал, что вот-вот эта женщина скажет что-нибудь такое, что уж и не дышать, ни жить после этого не придется, но лицо ее оставалось каменно неподвижным и лишь полураскрытые губы теплились непонятной улыбкой. Была эта улыбка насмешливой чуть-чуть – самую малость, а за ней если и не виделась, то чувствовалась тайна, и вовсе не постижимая человеческому уму.

Молчание этой женщины становилось непереносимым, как и неподвижность тел самоедов в красных одеждах. В эту минуту солнце брызнуло розовато-водянистыми лучами, и Семенка, еще раз глянув на желтую женщину, ужаснулся. Еще ясней проступила таинственная улыбочка ее лица, глубже обозначились тени надбровий, вспыхнули, засияли волосы золотисто-радужным ореолом, но теперь уже можно было понять, что это не живой человек, а статуя, идол, порождение чьих-то искусных рук. Уже ощутимей казалась массивность жгутами

набранного пояса, чугунная неподвижность чуть разведенных в сторону рук, ищущая цепкость чуть растопыренных и согнутых пальцев.

«Золотая баба!» – едва не вскрикнул Семенка, вспомнив рассказы старых казаков о самоедском идолище. – Так вот она какая, статуя – не более... Семенка подумал так, охрабрившись всем своим существом, так как силы покидали его, а душа изливалась трепетом, сраженная невидимой, но тяжело ощутимой силой золотого чудища.

– Обман, обман, – быстро шептал Семенка пересохшими от испуга губами, – обман сие – наваждение дьявола, прочь, прочь, сгинь, рассыпья... Он еще и еще шептал, настойчиво повторяя заклинания, но с отчаянием чувствовал, что силы они не имеют и что злокозненный зов идола вот-вот смирит его окончательно, и он, как и те самоеды, бросится к статуе, закроется перед ней до изнеможения в ликовании мерзостном, бесовском.

Вдруг самоеды, лежащие у ног статуи, как подброшенные, взметнулись на ноги, постояли немного с высоко поднятыми руками, и один за одним скрылись за второй, более узкой, занавесью из оленьих шкур. Вскоре и она упала, и тогда Семенка увидел за спиной идола пристроенные одна над одной белые, отливающие серебром трубы.

Было их много. Семенка взялся было считать, да сбился, так как подул ветер, и трубы, тут же вобрав его дыхание в свое нутро, огласили окрестность пронзительным стонущим воем, что властвуя, казалось, сейчас во всем господнем мире, выпевал славу золотому идолищу.

Как выбрался Семенка из той дьявольской круговерти, он и сам не помнил – шел без остановки всю ночь где наощупь, о деревья стучаясь, где сквозь кусты продираясь. Когда рассвет забрезжил и постепенно все развиднелось вокруг, Семенка забрался в густую траву у корней матерой сосны и впервые за все это время спокойно закрыл глаза, как провалился в пропасть...

Почти сутки проспал Семенка и проснулся на следующее утро, и то потому, что различил сквозь приятную теплоту сна чьи-то голоса. Звучали они совсем близко, и Семенка, обрадовавшись, хотел было поскорее выбраться наружу, как одумался и притих.

Божьим соизволением, не иначе можно было считать то, что снегу столько за ночь намело на поляне. Снег этот и вырубил Семенку, так прикрыл пушистым одеялом своим, что не заметили казака преследователи. Два самоеда в темных меховых одеждах с желтыми лоскутами у ворота шли, несомненно, по следу Семенки, злобно озираясь по сторонам. Несколько минут они потоптались на месте, пошли в одну сторону, в другую, потом, поговорив о чем-то, направились назад по своему же следу.

– Плутают... – сразу же определил Семенка. – Снег им мою дорожку сбил. – Сам в прошлом охотник, он хорошо знал неписаное правило таежных людей, что русских, что нерусских: «Потерял след – возвращайся назад в то место, откуда поиск вел – начинай сызнова...» Подождав еще некоторое время, Семенка осторожно выбрался из зарослей травы, отряхнулся и, дожевывая на ходу половинку последней оставшейся у него рыбы, зашпешил дальше и уж, конечно, в сторону, противоположную пути самоедов.

Вскоре показалась тропинка, вытоптанная зверьем, следов всяческих тут было множество, а потом меж кустов скупыми проблесками взялась впереди вода, зашумела глухо, невнятно.

– Водопой здесь, – сразу решил Семенка, и тут же, заторопившись, встал вскоре на берегу неширокой, но бойкой речки.

– Плот какой связать можно, да на нем и отправиться восвояси, – решил Семенка, – благо лесу здесь всякого навалено богато... Он затанул потуже опояску, поплевал на руки, как всегда делал перед работой, и уже взялся, примеряясь было за один из лежащих рядом сосновых стволов, как услышал неподалеку ехидный, почти дребезжащий смешок.

Семенка вздрогнул, вскинул голову и попятился, едва не сел на ноги, ослабевшие в одночасье. В нескольких десятках шагов от него стояли все те же самоеды в темных меховых одеждах.

Семенка в мгновение ока осмотрелся и тут же понял, что отступать ему было некуда. Стоял он на мысу, слева завал, справа – самоеды, впереди вода. Он подумал было про свой нож, но что значил этот нож в сравнении с большими копьями самоедов, с их луками и стрелами да еще в таких могучих руках. Понимали это и самоеды и потому не торопились.

Вода! Самоеды отродясь не моются, купания не знают, и хотя на лодках своих остры довольно, ежели в воду попадут – тут же тонут: плавать да на берег выбираться, по их вере идольской – грех несусветный...

Все это, как из пищали выстреленное, промелькнуло в голове Семенки, и он как был в одежде да в сапогах оленьих прямо с мыса, посильней оттолкнувшись ногами, шукой ушел в воду.

Не то что хладом нестерпимым свело тело, а кнутом стегануло раз и другой так, что сердце зашлось, но Семенка плыл и плыл из последних сил под водой, стараясь держаться к светлой полосе, что виделась ему – шла как раз посередине реки.

Когда уж и совсем до отчаянности грудь сдавило и Семенка с широко открытым ртом почти по пояс выскочил из воды, самоедов он не увидел. За это время река унесла его за поворот, и теперь перед глазами был только кустарник, синеватые ели за ним да гибкие сосенки, что склонялись ветвями к пенной толчее волн у водоворота. Семенка тряхнул головой, сыпанул брызгами и, быстро загребая руками, поплыл к берегу.

Недели через три после описанных выше событий в Тобольске в один из субботних вечеров на подворье казака Гурьяна Титова появился донельзя оборванный и исхудалый путник. Гурьян – хозяин хлебосольный, не прижимистый, никогда не отказывал в подавании ни нищим, ни странникам, да и был сейчас он навеселе, успев хватить после бани добрый ковш браги.

– Эй, Никитишна! – с хохотком эдак окликнул он проходившую неподалеку жену. – А ну, уважь божьего человека – стряпни дай какой да браги зачерпни.

Путника, несмотря на весь его изможденный и неприглядный вид, слова хозяина не только не обрадовали, а даже рассердили. Он как мог посуровее свел брови, поджал было распухшие, покрытые мелкими трещинами губы и с горечью воскликнул: – Аль я за подаванием прибрел к тебе, Гурьян, не признал, што ли?

Гурьян отступил шаг, другой, пригляделся и, сорвав с головы шапку, изо всех сил ударил ею о землю.

– Семенка, ешь твою переешь! Откель ты в обличье таком? – Он бросился к Семенке и с такой горячностью стал обнимать, тормошить и похлопывать его по плечам, что тот едва устоял на ногах. Из прируба вышла жена с куском пирога и кружкой браги в руках, и Гурьян тут же закричал ей: – Никитишна, гость-то какой ноне у нас!.. Да не стой ты пнем, подтапливай баню, Семенка же это, Векшин сын, побрательник мой по воинскому делу, ай ты забыла его?

Не прошло и двух часов, как Семенка с подстриженной бородой, распаренный, в чистом белье, в новом кафтане и сапогах, сидел на почетном месте в горнице Гурьяна Титова. Они уже выпили с ним по одной, по другой, по третьей и все говорили, говорили, перебивая друг друга, вскакивая в запальчивости с лавки, ударяя кулаком по столу. И Семенка, и Гурьян ходили в свое время с Ребровым на Яну-реку, приводили ее под высокую государеву руку, спали у одного костра и пили из чаши одной, бок о бок на стрелы самоедские шли. Только летом нынешним не пошел впервые с Ребровым в Мангазею Гурьян, – занедужил, на раны старые сослался, и только один Семенка, друг наипервейший Гурьянов, знал настоящую причину этого недуга. Звали тот «недуг» Серафимой Никитишной, была она дочерью тобольского стрелецкого сотника, слыла наипервейшей красавицей в городе. Признав Семенку, она с особым рвением принялась

потчевать, угощать его, столь нежданного, но дорогого гостя, ахала, крестилась, хваталась за щеки, слушая рассказ Семенки о его злключениях.

Гурьян с неменьшим рвением поддакивал ей:

– Спокоен будь отныне, Семен – раб божий! – шутиливо навеличивал он Семенку, широко размахивая руками. – Отоспишься, отъешься на хлебах моих, аль я што пожалею тебе? Как пора будет по зимней пути, благословясь, с обозом воинским и в Москву спроважу, аль не казаки мы, аль не уважим наказ-просьбицу старшого нашего – Ивана Иваныча Реброва сына, дай ему, Господь, добра всяческого поболе.

Поздно вечером перед сном Семенка решил охладиться.

– Отдышусь малость на морозце, – зевая, сказал он Гурьяну. Гурьян на питье всякое был крепок. Хоть и хватили они за вечер изрядно, он, пока Семенка прохладился на дворе, успел еще чарку добрую опрокинуть.

– Да покличь ты его, Гурьян, – забеспокоилась Серафима, – штой-то он столь долгое время на дворе выстаивает, после бани-то да бражничаний ваших оно бы и не к месту.

– И впрямь покличу, – согласился Гурьян. Он вышел на крыльцо и, приглядевшись, в негустых еще сумерках увидел распростертое на земле тело Семенки.

– Ай, перебрал казак пития хмельного, што тебя и ноги не держат! – закричал было шутовски Гурьян, но сейчас же крик этот опалил горло, свел судорогой грудь. В спине Семенки, ткнувшегося лицом в мерзлую лужу, торчала черная стрела с желтым лоскутом на конце.

Наутро к Киприану, не служившему в этот день в соборе, явился взволнованный Савва Есипов.

– Милостив буди, владыко, за беспокойство не кори – дело неотложное.

Киприан лишь приветливо кивнул, откладывая в сторону свитки старинных новгородских грамот, которыми занимался все последнее время.

– Казаки твоей архиерейской стражи, што ночью в очередь караул несли, схватили двух самоедов, тайно из города пробиравшихся. В руки даваться те самоеды не схотели – бились зло, до последнего. Одного из них казаки прикончили, другой у ворот подворья твоего приведенный стоит.

Когда Киприан с Саввой и еще с двумя служителями появился у ворот, там уже была немалая толпа местных жителей. Новости, да еще в таком, в несколько улиц, городишке, каким был тогда Тобольск, распространялись мгновенно.

Всем уже было известно о происшествии на подворье Гурьяна Титова, да и сам Гурьян был здесь, едва что не захлебываясь от волнения, что-то рассказывал обступившим его горожанам, размахивая при этом большой черной стрелой с желтым лоскутом на конце.

Здесь же, чуть в стороне, под охраной четырех дюжих казаков стоял связанный самоед, глаза которого на мрачном плоскоскулом лице с неприкрытой злобой косились на окружающих.

При виде Киприана мужчины вмиг сдернули шапки, женщины опустили долу глаза. Савва, с любопытством приглядываясь к самоеду, вдруг едва не вскрикнул, увидев у воротника его разорванной черной малицы желтый лоскут.

– Изволь глянуть, владыко, – быстро сказал он Киприану. – Выходит, самоедин сей из служителей идолища златого?

Киприан только согласно кивнул головой, затем кратко опросил казаков, выслушал все еще до крайности взволнованного Гурьяна, а затем негромко велел:

– Развяжите-ка злодея.

Подошел толмач из крещеных самоедов, готовый переводить вопросы Киприана, но самоедин, едва успев растереть затекшие от веревок руки, заговорил сам. Вначале речь его напоминала ястребиный клекот: хриплый, прерывистый, яростный от гордой ненависти и пре-

зрения к тем, что пленили его и стояли сейчас рядом. Потом стали различимы слова, которые он произносил почти правильно по-русски, но так, словно давился ими.

– Это стойбище деревянных чумов, – растопыренной пятерней самоед ткнул в сторону города, – мы скоро предадим огню. Воинов здешних побьем стрелами, стариков и старух удшим, и лишь молодые женщины и дети станут собаками у порога наших чумов!

При этих словах Киприан нахмурился, поджал губы.

– А ну, Гурьянушка, – подчеркнуто спокойно обратился он к Титову, – поспрошай у злодея сего, за что они друга твоей смерти предали, за что сгубили?

Гурьян словно ждал этого, тут же подскочил к самоеду и, едва не тыча ему в лицо стрелой с лоскутом, зашелся в крике:

– Ты это, ты, твоих рук дело, злодеюка, такого казака порешили! – Самоед в который уже раз презрительно повел глазами, видно, подумал, стоит ли отвечать, но все ж проговорил:

– Каждый, кто поднял глаза на ту, что повелевает землей, водой и светом, должен умереть!

При этих словах даже Киприан, известный своим миролюбием, не выдержал.

– Всем сущим на земле и в небесах повелевает один Бог, а ваше мерзостное идолище, именуемое Юмалой, или бабой златой, камень аль глыба железа крашеного – не более. Его надобно разбить, сжечь на огне, а пепел развеять по ветру!

От этих слов самоед отшатнулся, замахал было руками, но тут же побагровел, затрясся в крике:

– Юмала, Сорни Эква, владычица мира, я прах из праха у ног твоих! – Затем, выставив руки, как когти, он бросился на Киприана.

Сторожевые казаки, зорко смотревшие за самоедом, успели перехватить его, не ожидая приказа, вновь скрутили веревками.

– К воеводе представьте злодея сего для сыска и казни! – гневно воскликнул Киприан и, уже не глядя ни на кого, направился к своим покоям, непривычно сутулясь.

Глава 11

Близко, неподалеку совсем, за воеводскими стенами томилась Ерминия, а хоть бы глазом единым на нее взглянуть, никак случай не выходил. Уже давно под стенами теми не одну тропку проторил Ивашка, высматривал, узнавал, прислушивался и ждал, а может, на его счастье, мелькнет, покажется где-нибудь любая сердцу?

Бродил Ивашка под стенами этими, рискуя быть схваченным, и в полночь, и под утро, когда дремлют обычно сторожевые стрельцы, все прикидывал, как бы к Ерминии добраться. Долго он ломал над этим голову, но так ничего и не придумал подходящего, решил повидаться кое с кем из мирских.

Игры в «зернь» – кости, строго преследовались в Мангазее, но, несмотря на все кары и немилости, какими угрожали воеводы в своих указах «зернщикам», число их никак не убывало.

Вот и сегодня собрались они на краю Посада в «Сговорной избе» у Епифании «перекинуться костешками», попытать счастья в игре, а тут на тебе – Ивашка заявился и эдак позычней с порога оповестил:

– А ну, граждане мангазейские, узнать мне желается, столь ли вы бодры в делах иных кроме пития хмельного?!

Гости Епифании загалдели, радостно приветствуя Ивашку, а сама она заметалась, не зная уж, как и усадить, чем поить-потчевать, как приветить получше.

Вскоре Ивашка, в раж войдя, лихо держал застолье, пил с другими наравне, а то и больше их, но не гнул, голову вскидывал повыше. Он и дружков таких же на круг себе подобрал: четверо мирских один к одному – росту саженного – хватят чарку-другую и снова, склонившись друг к другу, шепчутся – спорят истово.

Епифания было раскатилась к ним, зачастила эдак жарко, с придыхом, будто уж и истомилась без меры: – Да, Иванушка, да, сокол ясной, пошто немилостив, заботен столь пошто?

Тот на это лишь рукой махнул: не до тебя, мол, и так докуки предостаточно... Епифания разве что на секунду-другую отступила, но тут же вознамерилась с другого бока к ивашкиной компании подкатиться, как ее окликнули от порога. Баба-стряпуха, что в доме Епифании хозяйство вела, к себе подзвав и поводя хитрющими глазами, сообщила: – Там тебя в сенцах кличут.

– Кому я надобна? – все еще не отрывая взгляда от Ивашки, недовольно спросила Епифания.

– Оглашать не велено, выдь – сама узришь.

Епифания хмельная, разгоряченная, с силой распахнула дверь в сенцы. В глубине их с трудом можно было различить закутанную в платок женщину. Епифания подошла ближе, пригляделась и тут же охнула, узнав небывалую на Посаде гостью, воеводскую ключницу Манефу.

– Пиры-пированья разводишь? – начала та без обиняков глуховатым скрипучим голосом. – А што по утру ждет тебя, не ведаешь?

– Не пойму, про што речь, што надобно тебе?

– Ничего мне не надобно, а только ведомо стало, што казачишка московской, коего ты извести воеводе посулилась, жив-здоров и как ни в чем не бывало по Мангазее расхаживает.

– Все-то тебе ведомо, ходишь, выслушиваешь, наушничаешь...

– Дура ты – крутель-вертель. – Манефа презрительно окинула взглядом Епифанию. – Молви правду, коли еще совесть осталась: пошто воеводу в обман ввела?

– Да, – вскинулась Епифания, – ввела, будь он проклят! Ишь, удумал такого казака-молодца погубить, вот я ему вместо отравы сольцы и сыпанула.

– Зачем же комедь ломала, творила сие перед кем?

– А хоть и не ведала, но почуяла, што в дельце таком за мной все равно пригляд будет, вот, думаю, вам, собаки, хоть посмеюсь вдоволь!

– Утром воевода проведает, што казак тот жив, што тогда скажешь?

– А сбегу к ватажникам аль куды подале. Сейчас я в отчаянность вошла, все мне нипочем!

– Чего она стоит, отчаянность твоя? Вот коли молчать будешь, научу, как от воеводы оберечься, как дале тебе быть и как туды не соваться, где ума не хватает дело разумно вершить.

Епифания, никак не ожидавшая такого, смешалась было, и тогда ключница, видя это, подбодрила ее:

– Зря сумлеваешься, обманывать тебя выгоды мне нет.

– Я и то думаю, – уже облегченно вздохнула Епифания. – Ну, што ж, коли так, разговор поведем тайный, пойдем вот сюды, в бокову клеть, – поманила она за собой ключницу.

Когда через некоторое время Епифания вновь появилась среди гостей, здесь уже во всю буйствовало море разливанное – разгулье хмельное.

– Епифаньюшка – цвет лазоревый!.. – пытался обнять ее пьяный казак.

– Былиночка ты наша, ветром неколеблемая! – вторил ему, кивая кудлатой головой, в подпитии добром стрелец. Некоторое время он бестолково шарил руками по столу и вдруг, широко открывая рот, затянул диковато и пронзительно:

Как во море гул,
Как во море гуд,
В Мангазею-град
Кочи, знать, плывут.

Песню тут же подхватили, надрывно выводя слова ее, два корабельщика:

А на кочах тех
Все царев запас:
Аksamит – лазурь,
Только не про нас.

– Сникните все, все! – с пьяной настойчивостью раз за разом выкрикивал толстый, рыхлый дякон. – Епифания-дщерь, хитростью и приворотами другими украшенная, не ходи рядом, не смущай душу грешника, сан духовный имеющего...

Многие уже и головы уронили на стол, кто храпит, а кто несет несуразное, елозит руками меж блюд деревянных с яствами и лагушков, узорами украшенных. И спорят, бия себя в грудь, и хрипят, упившись, и в жалобах исходят: душно, жарко, чадно.

Ивашку Епифания застала, уже готового в путь, в окружении своих четырех дружков.

Вроде бы и не бывал он в гулевании в шумстве недавнем. Умел Ивашка эдак: встать, встряхнуться, плечами повести, силу пробуя, и вот уже вновь он, как умытый водой живою, трезвехонький стоит. Епифания к нему:

– Да как же, да куды в таку пору собрался, да меня возьми, ежели што, то я с тобой хоть в омут-пропажу.

– Дело то не бабье. – Ивашка строго повел глазами. – Жди, в обрат пойдем – заглянем.

К воеводскому подворью Ивашка и четверо его дружков подошли за полночь. Луны не было, но искристая изморозь до отказа высветлила небо, и потому приходилось идти с опаской.

«Неужто и на этот раз не повезет?» думал на ходу Ивашка. В товарищах, что вслед шагали, он был уверен, как в себе самом, ну, а про то, как рвалась душа его к Ерминии, и говорить не приходилось.

Вскоре остановились у места, примеченного Ивашкой, и он приглушенно стал наказывать мирским:

– Мой шаг первый, ваш второй, но про запас, ежели мне там одному не под силу будет, я вас покличу. Стойте бодро, чутко, да меня с Ерушкой дожидайтесь.

Путь Ивашки сейчас был похож на путь слепого, да еще заброшенного волею судеб в чужую, совсем незнакомую сторону. Он долго пробирался вдоль пристроек, навесов, мимо поварни, откуда пахло на него жаром печей и сладковатым запахом свежеиспеченного ржаного хлеба.

У широко распахнутых дверей людского прируба едва не столкнулся со стрельцами, сонно бредущими по двору.

– Господи! Да тут как в лесу темном, непроглядном – ни ступить тебе вольно, ни вздохнуть. Одному мне здесь Ерминию не сыскать. Не хотелось бы творить того, да, видно, без глаз чужих да слов не обойдешься...

Слуги, приткнувшиеся кто под лестницей, кто на проходе у стены, попадались часто. Ивашка высмотрел одного подростка, залиvisto храпевшего у полураскрытой двери одной из светлиц, легко потряс его за плечо:

– Вставай, проснись, детинушка.

Парень долго не мог понять, зевая и крестясь, кто перед ним и чего ему надобно, а когда Ивашка приказал вполголоса:

– Веди к ключнице, – парень в испуге замахал руками.

– Што ты, ключница та у воеводы – перва рука, поди-ка, сунься к ней, Господи, спаси и помилуй!

– Ах ты, молитвенный мой... – Ивашка схватил парня за шиворот, потрянул, свирепо сведя брови, ругнулся вполголоса.

– Иду, иду, – сразу согласился парень, притворно всхлипывая. Заминка вышла у самых дверей Манефиной светлицы. Ивашкин проводник, даром что все время хныкал да причитал, вдруг рванулся, выкрутился из рук Ивашки, да так ловко, что тот и ругнуться не успел. Через секунду-другую парень был уже далеко, стремглав бежал по переходам и коридорам, истошно крича, поднимая тревогу.

В эту минуту дверь Манефиной светлицы распахнулась, и на пороге твердо встала Манефа в синем летнике и наспех наброшенном на голову черном платке.

– Ты? – почти спокойно осведомилась она, щурия глаза в холодноватой усмешке. – Как шум учуяла, тут же решила: он, боле некому ночами по подворью шастать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.